

Юзеф Игнаций Крашевский



Король в Несвиже



Юзеф Крашевский
Король в Несвиже (сборник)

«Э.РА»
1863, 1887

УДК 821
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

Крашевский Ю. И.

Король в Несвиже (сборник) / Ю. И. Крашевский —
«Э.РА», 1863, 1887

ISBN 978-5-00039-617-9

В творчестве Крашевского особое место занимают романы о восстании 1863 года, о предшествующих ему событиях, а также об эмиграции после его провала: «Дитя Старого Города», «Шпион», «Красная пара», «Русский», «Гибриды», «Еврей», «Майская ночь», «На востоке», «Странники», «В изгнании», «Дедушка», «Мы и они». Крашевский был свидетелем назревающего взрыва и критично отзывался о политике маркграфа Велопольского. Он придерживался умеренных позиций (был «белым»), и после восстания ему приказали покинуть Польшу. Он эмигрировал в Дрезден, где создал эту серию романов о событиях, свидетелем которых был. Роман «Шпион» посвящён нелёгкой работе шпионов на российской службе во время нарастания недовольства. Роман «Король в Несвиже» рассказывает о том, как король Станислав Понятовский посетил Несвиж с тем, чтобы наладить отношения с виленским воеводой Каролом Радзивиллом «Пане коханку» и заручиться его поддержкой. В книгу также вошли рассказы Крашевского.

УДК 821
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-00039-617-9

© Крашевский Ю. И., 1863, 1887

© Э.РА, 1863, 1887

Содержание

Шпион	7
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Юзеф Крашевский

© Бобров А.С. 2016

* * *

Шпион

Современная картинка, нарисованная с натуры

роман

All is true

Направляясь вниз по Беднарской улице к Висле, миновав отель Смоленский, по правую руку в доме, занятом разными ремесленниками, а от улицы дающим схождение загадочным жителям обоего пола, есть внизу род таверны, называемый бильярдом. Над её окнами висит таблица с нарисованными двумя киями, тремя шарами, пирамидально уложенными, и надписью:

Бильярд пиво и разные алкогольные напитки

Налево от ворот, в первой комнате, посыпанной песком, действительно стоит бильярд-старичок, который железной дорогой из Краковского предместья, переходя через разные улицы, очутился даже на Беднарской. Отсюда, ежели его какая катастрофа не встретит, выставят уже, пожалуй, в маленькое местечко в провинцию. К главной зале, достаточно тесной, примыкает ещё другая комнатка с четырьмя белыми столиками, для любителей пива, и тёмная каморка, где хозяйка, прислуга и все запасы того предприятия были собраны. Обычно днём там бывает вполне пусто, служащий маркёром мальчик отдыхает, вытянувшись на двух стульчиках, а продавщица пива дремлет в другой комнате. Но в некоторые моменты дня и в некоторые дни недели это заведение оживляется большим приливом ремесленной челяди и рабочих из соседних мастерских. Несмотря на это, торговля идёт очень плохо, вдова, что её держит, хотела бы себе переспросить другой кусок хлеба. Большие трактиры столицы поглощают всех выпивох, музыка влечёт к застолью, а малые трактиры должны обходиться теми, у которых мало времени и мало денег.

Имеет она, однако, своих верных сторонников, потому что привычка, даже настолько незаметная, может делать место сносным и милым. Пани Шимонова, женщина, которая прошла много бед в жизни и вышла из них грустной и вздыхающей, толстой и постаревшей, при помощи служащей достаточно быстро и вежливо обслуживала своих гостей, тот только один недостаток имела, что постоянно вздыхала, а глаза доказывали, что всплакивала по углам. Прибывающие всегда предпочитают весёлые лица, а слёзы чувствительности репутации бильярда вовсе не помогали, не один усомнился в качестве пива, видя грустный и задумчивый облик пани Шимоновой.

Как-то это, однако, держалось и вечерами бывало полно, но много приходилось кредитовать, а на таких задолженностях больше потратить, чем вернуть можно.

Одним майским днём 1861 года, когда уже порядком смеркалось, человек средних лет, бледного лица, с чёрными и пылкими глазами, вложив руки в карманы, шёл бессознательный, удручённый и задумчивый вверх по Беднарской улице. Как если бы ему не доставало сил, он иногда останавливался, рукой отирал хмурое чело, что-то шептал сам себе, усмехался и медленно тащился снова.

Это было олицетворённое оцепенение, которое следует после отчаяния. Полностью надеялся быть в себе и в своей боли, но уже с нею не боролся, не искал от неё спасения. Дойдя до дома, в котором был шинчек пани Шимоновой, он заметил свет в окнах и уставился в них. Ставни не были ещё закрыты и через стёкла, не первой чистоты, видны были двое мужчин, занятых благородной игрой в бильярд. После минутного раздумья прохожий махнул рукой и направился к двери. В первой комнате двое каких-то панов боролись за лучшее

на зелёном сукне с хладнокровием великих и уверенных в себе артистов. В другой был слышен звон пивных стаканов и какой-то тихий разговор. На границе, на пороге стояла грустная Шимонова, вытирая фартуком глаза. Бильярд был освещён сверху кенкетом, таким же старым, как он сам, простуженным и дымящим; два, подобных ему, меньше выполняли своё предназначение, коптя стены и толстыми слезами обливая пол по бокам.

В наиболее тёмном углу этого помещения за маленьким столиком, над аристократической чашкой кофе, к которой должен был доливаться ром, потому что бутылка его была рядом под рукой, сидел мужчина зрелых лет, в потёртой шляпе на голове, с толстой тростью в руках. Его лицо, цветущее пивными цветами, свидетельствовало, что спиртом он не брезговал, было это, впрочем, одно из тех наиболее распространённых лиц, которые вовсе не обращают на себя внимание: лишь бы какой нос и рот, обычные глаза и всё это незначительное, не обращало на него взгляда, можно было пройти мимо него, не акцентируясь. Бакенбарды полумесяцем, какие раньше носили гренадёры, и усики, подкрученные вверх, выдавали в нём бывшего военного. У него даже был в отверстии от пуговицы кусок какой-то пёстрой ленты. Важно чмокая кофе и покуривая напряженно сигару, к которой его не тянуло, хотя он настойчиво хотел вынудить её к послушанию, поглядел и туда и сюда, как если бы искал компанию. Никто, однако, к нему не подошёл, а служба бильярда, служа ему с неизмеримым уважением, косо и с опаской на него смотрела. Очевидно, эта была фигура прикинутая, чужая месту и по другим причинам, чем обычные гости, сюда прибывшая.

Когда тот человек с улицы входил в комнату, в первых скрипучих дверях глаза молчащего мужчины уже его с ног до головы смили и исследовали. В конце концов, в нём легко было узнать кого-то, кто так страдал, что почти не ведал, что делает и что с ним произошло. Его одежда показывала некогда возможно состоятельного ремесленника, но была изношенной и рваной; благородные черты лица покрывала болезненная желтизна, волосы были в беспорядке и местами локонами поседели. Войдя, незнакомец не знал, что с собой делать, помотрел, закрутился и упал на табурет при дверях. Едва он сел, выбежала задымлённая девушка из другой комнаты и стала перед ним: это был немой вопрос, которого он сразу не понял, а потом, решившись, сказал хриплым и слабым голосом:

– Рюмку водки!

Когда ему принесли, он проглотил её одним глотком, оттолкнул лоток с хлебом, бросил десятку и глубоко задумался. С той минуты, как он вошёл, глаза бывшего военного не покидали его, он следил за его физиономией и движениями, и живо казался им занят. Игроки в бильярд, закончившие партию, скоро вышли, маркёр удалился в другую комнату, а эти двое остались один на один. В это время мужчина в шляпе встал от кофе, начал прохаживаться, поправил у зеркала бакенбарды, кашлянул и, приблизившись к человеку при дверях, тихо вымолвил:

– Ну что же, пане Мацей, как я вижу, всегда несчастье?

Тот, как пробуждённый, вдруг поднял голову, но, казалось, не понимает вопроса.

– Гм! Несчастье, пане Мацей?

– Что? – невыразительно сказал спрошенный.

– Я говорю, плохо что-то на свете?

– Разве когда-нибудь было лучше?

– Ах! Оно бы тогда могло быть лучше, когда бы люди разум имели.

– Разум? А на что он сдаётся, когда доли нет.

– При разуме и счастье найдётся!

– К чёрту!

– А я вам говорю, – добавил, крутя ус, первый, – что никогда отчаиваться не нужно, а опытных людей слушать...

– Я тебе не юнец!

– У вас от беды в голове помутилось. Знаете, пане Мацей, что, когда доктор заболит, если был наилучшим, никогда сам себя не лечит, нужно людей слушать, я тебе это повторяю ещё раз.

– Я проверял этих людей, но мне не один не посоветовал. Слово не стоит, слов тебе каждый насыплет, а что потом? Языком мелет – рукой не двигает!

Бывший военный осмотрел внимательно помещение, взял Мацея под руку, проводил его к своему столику, налил ему рюмку рома и, вынудив его выпить, посадил его при себе.

– Слушай-ка, – сказал он, – ремесло не идёт, правда? Или нет другого куса хлеба? Я бы готов тебе и посоветовать; но это деликатная материя...

Мацей посмотрел искоса, но промолчал.

– Первая вещь, – шепнул очень осторожно мужчина с усами, – необходимо мне дать слово, что то, о чём мы поговорим, останется между нами как на исповеди.

– Уже то, мой пане поручик, – сказал Мацей, – когда какая вещь должна быть тайной, это плохая охрана. Я привык ходить широкой дорогой и белым днём, а бездорожьями и по ночам не умею.

– Ну, тогда умирай себе с голоду, когда такой гордый пан. Всё-таки можешь делать выводы, что я тебя ни на кражу, ни на разбой, ни на контрабанду убеждать не думаю...

– Тогда к чему же такие секреты?

– Мой дорогой, тебе это трудно понять, но для важных, очень важных дел порою малые вещи потребны и маленькая услуга, а хорошо оплачивается...

– Эх! Слушай, поручик! Что ты там баламутишь, говори же мне откровенно; когда хочешь дать мне добрый совет, то не тани с ним.

Поручик, казалось, ещё обдумывал, потом начал шептать ему на ухо:

– Ты можешь иметь и протекции, и деньги, и что захочешь: правительству необходимо знать, что тут за заговоры люди среди челяди и рабочими чинят относительно какой-то там глупой революции. У меня хорошие отношения с Павлуцим и другими, я порекомендовал бы тебя. Пять злотых в день как нашёл, награда, как что-то принесёте, и на будущее может быть ещё какое продвижение.

Мацей побледнел и вздрогнул, холодный пот выступил на его висках.

– Будь, пан, уверен, – сказал он прерывистым голосом, – то, что между нами говорится, о том мир знать не будет. Ты всегда это, может, делал от доброго сердца, но, мой пане поручик, хоть я много перенёс, хоть ломаюсь под бременем, ещё мне, благодарение Богу, на ум не пришло жить чужой кровью и несчастьем.

Ухватился он обеими руками за голову и прибавил с возмущением:

– Всё-таки лучше на Пражский мост и броситься в Вислу. Всё кончится; но человек пойдёт на суд Божий с чистой совестью.

Поручик, вовсе не смутившийся, начал смеяться.

– Какой из тебя ребёнок! – сказал он. – Видел ты когда-нибудь, чтобы человек без ущерба для другого имел кусок хлеба? Ты думаешь, что на тех каретах, что на улице светятся, нет и крови, и пота чужого? Трава ест землю, вол ест траву, человек ест вола, такой это уж порядок; впрочем, пусть себе правительство берёт на свою совесть, что там хочет, я доношу, что вижу, и что мне до того! Виновный тот, кто на зло использует, а не я!

– Оставьте меня в покое, поручик! На такой хлеб я не пойду, не ел бы его, не переварил бы его, потому что меня стоны несчастных бы задавили.

– Подождите-ка ещё пане Мацей, – сказал поручик. – Вы честный человек, вам могу это искренне поведать. Не с сегодняшнего дня это моё ремесло, я уговаривал себе много товарищей, но всегда изначально так бывало как с вашей милостью, лишь голод надоест –

разум приходит. Уклоняется человек, уклоняется, потом меняет мнение и принимает. Мне жаль тебя, даю тебе неделю на раздумье... а потом увидишь меня.

Он отпил немного кофе, покурил сигару и добавил:

– Мне не нужно вас предостерегать, что если проболтаетесь, то сгниёте в тюрьме. Это уже не моя забота, а дело правительства.

Мацей глубоко вздохнул и слёзы покатались из его глаз.

– Милый Боже! – воскликнул он потихоньку. – На что человек пошёл! И Бог видит не собственную вину! Но нет, нет, я до этого никогда не дойду! Однажды придётся умирать.

– Говорю тебе – не зарекайся, – с усмешкой шепнул поручик, – не нужно плевать в воду... чтобы её потом не пришлось пить.

Он хотел ещё налить рюмку рому Мацею, но тот поблагодарил и встал, капли пота вытирая с лица.

– Как надумаете, то меня тут почти каждый вечер можете найти, – сказал усатый.

На этом разговор окончился. Мацей вышел из помещения и побрёл по улице.

Едва он прошёл несколько шагов, когда кто-то толкнул его в плечо и сказал тихим, незнакомым ему голосом:

– Идите за мной!

– Куда? Зачем?

– А ну! Это сейчас узнаете, но идите, потому что дело важное и о вашей шкуре речь.

– Оставили бы меня в покое! Я вас не знаю.

– Но я знаю тебя, – сказал незнакомец, хватая его за руку. – Ты Мацей Кузьма, столярный мастер, недавно освободинлся, рука у тебя слабая. У тебя больная жена, трое маленьких детей, несколько сот злотых долга, на дерево ни гроша, челяди нечем платить; ты ходишь как отравленный, плохо у тебя мысли по голове бегают, а плохие люди искушают, готовые этим пользоваться.

Мацей, слыша это всё, был почти ошеломлён, но ему на ум пришло, что это, может, продолжение разговора с поручиком, что это только попытка. Уже также ему одна эта мысль шпионажа жгла грудь.

– Слушай, – сказал он, толкая держащего человека, – отойди от меня, дьявол этакий, а нет, я тебе голову проломлю.

Незнакомец начал смеяться.

– Что же это, ты меня принимаешь за какого-то товарища поручика? Или что? Я догадался, что он тебе рекомендовал, но тебе я клянусь на этом потрескавшемся кресте, что русские его унизили, что это полностью другое дело! Ты можешь за мной безопасно идти, твою совесть не замутим. Собственно, что я видел и догадался, что ты ответил поручику, для того тебя с собой хочу проводить.

– Поклянись ещё раз!

– На что хочешь?

– Поклянись спасением, что меня не обманываешь!

Незнакомец, высокий мужчина в очень приличной одежде, лицо которого темнота заметить не позволяла, расстегнулся, достал подвешанный на шею медальон и торжественно повторил клятву.

– Ну, тогда идём, – сказал Мацей.

В молчании они прошли кусок Краковского предместья, а незнакомец, ведя первым, вошёл в одну из камениц напротив Благотворительности... По тёмной лестнице поднялись они на третий этаж. Тут проводник три раза по три постучал в маленькие дверочки, которые постепенно отворились. Передняя была совсем тёмной, пришедший пошептался о чём-то с отворившем, стояли минуту во мраке и, наконец, они вошли с Мацеём в освещённую комнату.

Это была маленькая комнатка с одним окном и довольно пустая. В середине был простой столик, несколько плетёных стульев, в углу кровать с матрацем, но без постельного белья; одна свеча не очень освещала этот тёмный и грустный приют. Теперь лишь Мацей мог рассмотреть и того, кто его сюда привёл и другого, которого застали в квартире. Оба были люди молодые; проводник, высокий, плечистый, благородных черт мужчина, другой – блондин, нежный, хрупкий, бледный, но с чертами, полными энергии. Душе его казалось тесно в этой оболочке, она была ключом из глаз, вырывалась из уст, светила ореолом на голове.

– Пανε Мацей, – сказал первый, – ты среди честных людей, среди своих, говори, что тебе тот дьявол клал в ухо, соблазняя тебя?

Мацей остановился на мгновение, подумал.

– Господу Богу ли, дьяволу ли, – сказал он, – если даёшь слово, что будешь молчать, необходимо сдержать его. Не правда ли?

– Нечего сказать, – сказал блондин, – вы правы; но когда так, то мы вам расскажем, о чём была речь. Я готов отгадать не только, что говорилось, но как там говорилось.

Мацей остолбенел.

– Ежели вы такой разумный пан, – сказал он кисло, – то принадлежите, конечно, к одному братству с поручиком. Так вот, вам скажу, как ему, что вы от меня ничего не получите. Это напрасно, я бедный человек и беднейший, может, от возраста, но чужими слезами и кровью жить не хочу! Прощайте, будьте здоровы. – Он повернулся к дверям, когда почувствовал, что тот блондин схватил его за плечи, начал обнимать и целовать.

– Садись, пανε Мацей, – сказал он, – это шельма шпион, которого рано или поздно петля не минует, а мы добрые поляки и работаем не для московского правительства, но для нашей любимой отчизны. Мы не будем тебе лгать ни то, ни это, мы знаем тебя через твою челядь и других товарищей, потому что и мы имеем свою полицию, мы должны следить, видели, что тебя несколько раз тот поручик зацеплял, легко было догадаться, чего он хотел. Так вот, страна от тебя великой услуги требует.

– Вы католики? – спросил Мацей. – Вы можете мне ещё раз поклясться, что то, чего вы от меня хотите, для нашей милой отчизны необходимо?

– Мы можем и поклянёмся, – сказал блондин, – посмотрите же на нас, выглядим ли мы на шпионов и предателей?

– О, ну это нет, – сказал Мацей, – но та московчизна, это она прибегает к разным выходкам, а шпионы так прикидываются добрыми поляками, что чёрт их там узнает!

У блондина были слёзы в глазах, он достал крест, спрятанный в выдвижной ящик, и показал его Мацею.

– Смотри! – воскликнул он. – Этот крест, обрамлённый терниями, был сделан из тюремного хлеба, омыт слезами мученика, он вышел из цитадели, святой собой и освящённый болью; на этом кресте мы тебе клянёмся, что нет в нас лжи...

Мацей уже почти устыдился своего недоверия.

– Говорите, приказывайте, а что человек преодолет, то случится, но Бог видит, если вы можете, то мне через добрых людей помогите, чтобы я сначала голову восстановил, потому что меня беда ошеломила, что сам с собой справиться не умею и ни на что вам не пригожусь, пока меня это моё несчастье есть будет, я стал глупым от боли.

– Со всем справимся, пανε Мацей, но нужно и с тем осторожно, потому что, когда тебя шпики в лучшей шкуре увидят, всё пропадёт. А мы от тебя также трудные вещи будем требовать.

– Будь спокоен, – добавил другой, – завтра ты пойдёшь в Благотворительность за ссудой.

– Я ходил напрасно несколько раз, кто же за меня захочет поручиться?

– Там завтра найдутся двое обывателей, которые внесут за тебя залог, но, хотя тебе легче будет, стони, как всегда, потому что нам так нужно.

– Через три дня, – прибавил блондин, – ты пойдёшь на Беднарскую улицу, найдёшь там поручика, нужно ещё отказываться, но, в конце концов, ты должен принять то, что он тебе предлагает.

Мацей вскочил со стула.

– Этого не может быть!

– Всё-таки ты им ничего не будешь доносить, но нам через тебя нужно знать, что у них делается.

– А! Мои дорогие паны, за сокровища мира, – ответил Мацей, складывая руки, – я этого не приму, я этого не сумею...

– Как это! Для твоей милой отчизны! Для нашей святой веры!

– Мои господа, – отпарировал ремесленник, – я столяр, если бы вы приказали мне ботинки делать – это не моя вещь; так и это, я простой человек, а это очень крутое дело, моя голова с этим не справится.

Несмотря на то, что, как очень справедливо выразился пан Мацей, это было крутое дело, молодые люди заверили его, что при их совете и подсказках он честно с ним справится; хоть с большой такой нерешительностью, принял Кузьма неприятное для него обязательство.

Добрую часть времени они потратили на тех переговорах.

– Уж это вы там лучше знаете и на что это потребно и как быть, – сказал в конце Мацей, – но мне оно сдаётся, что с таким бывалым человеком как поручик, я, пожалуй, не справлюсь... это напрасно.

– Мы вам поможем! – сказал блондин.

– А где же я вас буду искать?

– Около шести вечера, если бы вы хотели зайти помолиться у фигуры Божьей Матери напротив Благотворительности, всегда там кто-нибудь из нас может быть.

На том и кончился разговор, и пан Мацей с немного более свободной мыслью поплёлся к дому, но на сердце у него было ещё тяжело.

* * *

Глубокой ночью, когда уже у пани Шимоновой никого на бильярде не было, поручик, который в течение последнего часа своего пребывания в том месте спал или также прикидывался спящим, вытянувшись и забыв заплатить хозяйке (что было его привычкой), вышел последним из баварии. Не далеко ему было до дома, потому что он жил на Дзиканке в тыльной части обширного дома, занятого по большей части очень бедными семьями. Достучавшись в ворота, перейдя через двор, прошёл ещё два этажа по лестнице до перехода наошупь. В двери, в которую он шумно ударил, было сверху маленькое непрозрачное окошко, сквозь которое слабо пробивался свет. Ему вскоре отворили и поручик, посвистывая, как бы для прибавления себе отваги, в шляпе наперекосяк, с сигарой во рту, вошёл внутрь. Дверь ему отворила грязная заспанная горничная; в квартире было глухо, в центре большого помещения горела только сальная свеча, давно не освещающая. При её тусклом свете было видно это бедное жилище, которое, вместе с тем, содержало в себе и всё хозяйство семьи. У двери были кухонная посуда, печь, в которой готовили, даже немного кладовых запасов в достаточно большом беспорядке и заброшенности. Далее в различных направлениях несколько столов, заваленных бельём и одеждой. Возле окна стояла пара кроватей, плохо заслоненных бумажными параванами, достаточно обшарпанными. Какой-то неприятный запах бедности и безвластия веял от этого приюта. Ничего для глаза и украшения, ничего для чув-

ства и сердца, тяжёлая бедность, которая ни о чём не думает в будний день, начатая стирка, поразвешанное трепьё, остатки скудной еды, ничего больше видно не было. На большом столе, на котором горела свеча, дремала, опираясь на руки, женщина средних лет, исхудавшая, в запущенной одежде, с растрёпанными седеющими волосами. Черты её лица доказывали, что некогда была она очень красивой, даже нужда, возраст и запущенность не сумели стереть этого Божьего дара, однако чёрные, прекрасные некогда глаза, глубоко впали и от слёз погасли, уста скрылись в складках, которые вырезала боль, а привычка к постоянной борьбе и состязанию с несчастьем заклеили этот облик диким выражением затвердевшего гнева. Она взаправду была страшной, как рукой великого мастера высеченная голова Медузы. Посмотрев на неё, уже можно было сообразить, почему поручик, входя, придал себе смелую мину. Всё это знаменовало ту домашнюю войну, следы которой были видны в беспорядке всей квартиры.

Услышав шаги, женщина пробудилась и поднялась, посмотрела на старые часы, висящие на стене и рукой указала их мужу. Было половина двенадцатого.

– То-то ты сегодня исправился, – сказала она, – значит правда, что пораньше вернулся?

Трезвый поручик был мягким, но, напившись рому, становился весьма храбрым, ответил грубостью:

– Молчи, старая надоеда, я делаю, что мне подобает, а ты в это нос не суй!

Женщина кивнула головой, вовсе не испугавшись грозной фигуры.

– Уже эта скотина напилась, – сказала она, – и гудит, и будет мне, пришедши сюда, шуметь ещё! Молчи же сейчас и иди спать, пьяница, а не то тебя научу!

Поручик свистел, но уже тише; снял шляпу и положил на столе, погасшую сигару пробовал зажечь от свечи, но как-то на пламя не мог попасть, что ещё сильнее доказывало, что жена в своих предположениях не ошиблась. Он действительно был сильно пьяным, несмотря на это, хотел перевести разговор с деликатной материи и спросил хриплым голосом:

– Юлек есть?

– Что тебе до Юлка? Трутень ты этакий, – ответила жена. – Какое ты имеешь право спрашивать о ребёнке, о котором не заботишься?

– Эх! Баба, ко мне относись как хочешь, но от Юлка прочь, я отец и должен за ним следить, – крикнул прибывший.

– И хорошо за ним следишь! – ответила женщина. – Пожалуй, думаешь, что он где в шинке сидит, что, ища его, целый день трактиры вытираешь?

Поручик мгновение помолчал и повторил вопрос:

– Есть Юлек?

Жена вместо ответа ему плюнула и начала некогда длинные свои волосы завязывать, будто собиралась лечь спать.

– Кахна, – отозвалась она через некоторое время, – посвети ему до его комнаты!

Поручик спросил в третий раз:

– Есть Юлек?

Вдруг женщина, которая, казалось, была безразлична, обернулась к нему с разгорячённым лицом.

– Нет его, – воскликнула она, – ты показал ему хороший пример шल्या по ночам, безделья и разврата, может, ты хочешь его сделать таким же, как ты, пьяницей и висельником! Смотря на отца, он уверенно пойдёт по его следу. Недостаточно тебе было погубить себя, меня, тебе было нужно испортить этого ребёнка! Для совести твоей тяжело, ой, тяжело будет в дни суда! Ты понесёшь на дно ада и свою душу, и нашу! – говоря это, она зарыдала.

А поручик, посмотрев на неё, словно протрезвел, стал покорным и замолчал.

– Тихо! Тихо! – сказал он. – Что, я в том виноват, или я каждый день его не учу?

– Ой! Твои науки! Было бы во сто крат лучше ребёнку их не слышать и тебя в гроб положить! Что значат твои слова при твоих поступках? Достаточно, чтобы посмотрел тебе в лицо, и с него жизнь прочитает! А потом ты хочешь иметь утешение от него! Божья милость ещё над нами, что хоть бы другого уж испортил, его, может, не сумеешь.

Поручик глубоко задумался, как-то странно вздохнул, стукнул кулаком по столу и крикнул хриплым голосом, поднимая трость:

– Молчать, баба, а нет, я тебе голову разобью!

– Не буду молчать, – ответила, топая ногой, женщина, – разбей мне голову, я смерти давно у Господа Бога выпрашиваю; ты закончишь, по крайней мере, как того достоин, на виселице!

В лицо поручика бросилась кровь, глаза загорелись и, может, окончилась бы эта сцена кровью, если бы не постучали в дверь.

Оба родителя по несмелому стуку догадались о возвращении ребёнка. И в эту минуту произошло чудо, какого бы никто предвидеть не мог. Эти два грозных лица, словно чародейской милости прикосновением, изменились в мягкие физиономии, исчез из них гнев, а сила родительской любви преобразила их полностью. Они не хотели перед любимым стоять во всём безобразии той отвратительной борьбы. Лицо женщины стало спокойным, грустным, но дивным выражением улыбчивой любви; нельзя было даже подумать, что мгновение назад она пылала возмущением и гневом. Отец принял серьёзный вид и почти стал похож на порядочного человека, остаток какого-то стыда туманно затенял ему очи. Дали себе взаимно знак согласия и, когда Юлек потихоньку вошёл, следа ссоры уже не застал. Глаза обоих родителей тоскливо были обращены к нему, отец дрожал от самой мысли, что в нём может заметить первые ростки своей привычки.

Прибывший был парнем лет двадцати и живым молодым изображением своей матери, были это всё те же черты, благородные, мягкие, но ещё покрытые нестертым весенним пушком. Среди этой фламандской картины, грязной бедности, Юлек отличался, словно к ней не принадлежал, словно из неё не вырос; одежда молодого человека была скромной, но чистой и приличной; на личике играла весёлая улыбка молодости, которой, казалось, хотел умиловать родителей, в уверенности, что за его опоздание будут гневаться.

– Что же ты так поздно возвращаешься? – спросила мать мягко. – Смотри, ведь уже скоро двенадцать.

– Мы повторяли лекции с товарищами, – сказал немного смущённый Юлек. – И так как-то припозднились.

Отец ничего не сказал, но его глаза так изучали сына, словно до глубины его души хотел достать.

– Но это теперь такое время, – сказал он через мгновение, – что долго засиживаться вне дома не нужно, и притом учитывать, с кем занимаешься, потому что ещё где-нибудь за чужие грехи беды выпросишь.

Юлек минуту помолчал и добавил с выражением искренности:

– Отец, какое есть время – такое есть, а учиться необходимо; наша наука и трудна, и велика, предметов множество, много вещей на память учить приходится.

Мать положила ему руки на плечо и спросила:

– Ты, конечно, ничего не ел?

– Эх! Дорогая мама, я уже тому из медицины научился, что человеку для жизни много питания не требуется, лишь бы ломтик хлеба и немного воды, я не голоден.

– Я тебе там велела отложить кусок мяса и немного картофеля – тогда бы тебе подогрели.

На упоминание о еде поручик, который многопил, но не имел возможности есть, сделал многозначительную мину, но встретив грозный взгляд жены, языком только повёл по устам и смолчал; не смел упомянуть.

Присутствие Юлка, как бы посланца мира, утишило бурю и дало вечеру закончиться тихо. Поручик очень даже вежливо пожелал спокойной ночи жене, которая с ним попрощалась также мягко. С ним вместе ушёл и Юлек к двум комнаткам ещё выше, расположенным на чердаке. Когда за ними Кахна закрыла дверь, женщина быстро побежала к кровати, отслонила параван и изогнулась над постелью, на которой было видно спящее личико пятнадцатилетней девочки. Она успокоилась, убедившись, что ребёнок спит, несмотря на шум и ходьбу. Действительно, дочка, которую не хотела иметь свидетелем неприятного инцидента с мужем, почивала тем глубоким сном молодости, которого иногда и выстрелы пушек не прерывают.

Красивая златовласая головка лежала на распущенных локонах, зарумяненная сном, с полуоткрытыми устами и прикрытыми очами, улыбаясь каким-то сном.

Мать тихонько поцеловала её в лоб, отошла к столику, села, и из её глаз потоком пустились слёзы. Молчащая, она плакала так долго, долго, пока, когда свеча начала догорать, служанка не схватила её за руку, прося, чтобы шла спать.

Не сбрасывая одежды, поручикова упала со своими слезами на ложе.

* * *

Нужно отдать ту справедливость московскому правительству, что при самых усердных намерениях шпионажа, нигде та ветка администрации хуже, чем в России и Польше, организована не была. Правительство, вынужденное использовать изгоев общества, которых ни выбрать, ни организовать не умело, узнавало всегда последним о том, что уже всем уличникам было известно. Полиция его бывала докучливой, но самой безрезультатной на свете; доносила о вещах незначительных, никогда, иначе как случайно, самых важных получить не могла. Там, где агент полиции, как в Англии, чувствует себя колесом, честно работающим в социальной машине, где своего ремесла стыдиться не нужно, чувствуя, что и в нём заключается общественная безопасность, там найдутся люди честные и пригодные для надзора над общественной мутью и накипью. В России, где полиция есть наиподлейшим инструментом притеснения, ни один человек, имеющий малейшее сознание собственного достоинства, принадлежать к ней не может. Следовательно, они должны были выметать из водосточков мусор и им пользоваться. Полиция, главным образом направленная против политических преступников, не имея возможности их выслеживать, создаёт виновных, и вообще, неспособность её равняется слепоте. Нет также больше унижающего названия, которое бы такое окончательное несло с собой осуждение, как именование шпиона. Ни вор, ни фальшивомонетчик, ни разбойник так не презираемы, как он. Для шпииков нет жалости и прощения. Стоя очень много, секретная московская полиция дала тысячи доказательств в бесполезности. Напрасно желая иметь лучшую в Варшаве Великопольши, через друга своего секретаря английского консульства пана В... привезли агентов из Англии, собираясь тамошней организации подражать. Ни к чему негодились примеры, потому что инструменты к ним у нас найти не могли. Презираемое правительство на вес золота не сумеет достать людей, которые бы его поддерживали в беспорядках. Английский полицейский знает, что, выслеживая преступника либо беспокойного чартиста, приводит его к суду, который вину его оценит, взвесит и кару назначит соответствующую. Московский шпион приводит жертву под нож, отдаёт человека в руки мучителя, сам является не слугой суду, но прислужником палача. Следовательно, можно делать вывод из того, какие люди входят в состав полиции. Наименьшего доноса, не основанного ни на чём, часто будучи следствием злости либо мести, хва-

тает для осуждения человека. Ни одна ссора с тайным агентом стоила невинному жизни, ни одна прихоть пьяного отобрала семье отца. Там, где нет ни открытости суду, ни стабильности формы права, где в руках самых неценных людей есть судьбы всех, легко понять, какая должна быть безопасность людей и собственности. В последнее время большой прогресс, который учинил народный характер, в целом произошёл в этом даже классе.

Шпионаж, в рядах которого при великом князе Константине (первом) было достаточно значимых агентов, снизился до крайних границ. Старались, когда события делали их необходимой потребностью, укрепить новыми элементами; но когда пришлось их искать, оказалась полная нехватка.

Когда через три дня после упомянутого вечера пришёл Мацей в кабак на Беднарской улице, хотя уже был очень спокойным насчёт своей судьбы, так выглядел со страху, впечатления и принуждения к лжи, что поручик принять его мог за отчаявшегося человека. Ноги под ним тряслись, а голос ему изменял. Когда заметил бывшего военного, он должен был сесть при дверях, ибо дальше шага сделать не мог. Этого дня в баварии было достаточно людей; через мгновение поручик подошёл к Кузьме и сказал потихоньку:

– Ну что? Идёт? Поговорим?

– Чего же делать, уже вынужден!

На том сразу закончилось. Поручик допил кофе и, подмигнув Мацею, вышел из кабака.

– А видишь, – сказал он на улице, – я говорил тебе: «Не плюй в воду, чтобы самому её не выпить».

– Да что вы, не упрекайте, – ответил Кузьма, вздыхая. – Говорите, что хотите от меня?

– Что мне тебе сказать? – шепнул поручик. – Иди за мной, тогда узнаешь.

В молчании они пошли, поручик впереди, Кузьма за ним, из Краковского через Медовую на Долгую и тут, не доходя Белянской, вышли к воротам одного дома, перед которым прохаживался какой-то незаметный господин.

Поручик перемолвился с ним парой слов и вошёл со своим товарищем в ворота, на двор, потом на тёмную лестницу, наконец, в какую-то квартиру сзади. В очень душном и вонючем коридоре на лавках и по углам пряталось несколько особ, словно стыдясь собственных лиц. Каждый сюда входил, закрываясь как можно лучше и пытаясь остаться в тени. Товарищество было подобрано очень странное: какая-то женщина, наряженная в атласную салопу, у которой из-за вуали только очень розоватое лицо было видно, какой-то мужчина в потёртом фраке, худой и сморщенный, какой-то обтёртый верзила, но с дерзким и бесстыдным лицом, какой-то кашляющий старичок, но улыбчивый и приятный, наконец, фальшивый франт, лакированные ботинки которого не защищали от догадки, что у него, может быть, нехватало чулков.

Кузьма, входя за поручиком, почувствовал озноб на коже и поменял бы временное своё положение на самую большую бедность. Осмотр этих людей пробуждал в нём отвращение. Какой-то слуга входил и выходил из гостиной в коридор, из коридора в гостиную. Он смотрел свысока на ожидающих и по одному толкал в пасть чудовищу. Делалось это достаточно быстро и вскоре наступила очередь поручика. Кузьма остался ещё, пока его не вызвали. Наконец дверь отворилась и поручик ему кивнул; споткнулся бедняга на пороге, а когда поднял покрытое стыдом лицо, увидел перед собой совсем красивую комнату, меблированную софами и стульями по кругу, с несколькими зеркалами на стенах. На столе между окнами среди книг и бумаг стояла лампа и две свечи, на маленькой кушетке сидел мужчина лет сорока с небольшим, красиво лысый, весьма приятный и мягкий лицом.

Он выглядел скорее гурманом и хорошим дружком, чем каким-то там начальником тайной полиции. Его голубые глаза имели мягкое выражение, уста были румяные и большие, он добродушно и сердечно улыбался, несмотря на поддельную искренность, разлитую по всей физиономии; Лаватер открыл бы в ней хорошо замаскированную хитрость византийца

того типа, каким отличалось лицо Александра I, этого московского ангела... с коготками, спрятанными в лакированные перчатки.

С первого взгляда вы приняли бы его за невинного эпикурейца, лишь в разговоре, когда те черты оживлялись нервной игрой, поразительно была ключом из них хитрость, а иногда холодная жестокость. В движениях этой фигуры было что-то кошачье. Кузьма, простой человек, который ожидал увидеть монстра, сильно удивился, видя такую улыбчивую и милую сущность.

Когда сидящий на кушетке мужчина мерил прибывшего довольно интересующимися глазами, поручик, между тем, ему его представил.

– Вот, пан начальник, мастер Мацей Кузьма, очень достойный и честный человек, о котором пану советнику я имел честь напоминать...

Поручик давал ему попеременно этот титул Начальника и Советника, которым украшали обычно всех высших должностных лиц в Варшаве.

Приятный начальник не ответил так скоро, потому что был занят добычей остатков обеда из довольно ещё белых зубок.

– А знаешь, мой дорогой, о своих обязанностях? – спросил он наконец после минутного молчания.

– Нет, прошу вас, я ничего ещё не знаю, кроме того, что должен быть *шпионом*!

Начальник аж вскочил с канapé.

– Душа моя, сердце моё, дорогой человек, ты глуп, как башмак. Что за шпион? Это слово враг порядка придумал из-за презрения! И вы, и я, и все честные люди, мы обязаны служить нашему царю и стране, стеречь и охранять, чтобы в ней был порядок и безопасность; плохие люди подстрекают через иностранных смутьянов, хотели бы замутить мир, дабы в мутной воде рыбу ловить. Что же плохого, спрашивается, стоять на страже и давать знать о пожаре?

Поручик, который чувствовал себя обязанным что-то добавить от себя, серьёзно сказал:

– А видите, что я говорил.

Через мгновение начальник успокоился:

– Подробную инструкцию, моя душечка, будет тебе давать этот вот поручик. Тебе подобает иметь глаз особенно на ремесленную челядь и хорошо её узнать. Жаль, что ты, дорогой пане Мацей, не имеешь там отношений с мясниками на Праге, ибо на них наибольшее внимание необходимо обращать, это сброд опасный и дерзкий. Нет необходимости тебя предостерегать, моя душа, что желая что-то узнать, ты должен естественно часто сам что-то горячего немного рассказать, без этого ничего. Разные есть обстоятельства, плохие люди иногда прикидываются мирными, чтобы правительство обмануть. Может случиться, что нужно будет сделать какую авантюру, лишь бы лучше узнать их. Ежели бы там в путанице и тебя, мой дорогой, схватили, тебе необходимо иметь какое-то свидетельство, чтобы тебя охраняло. Дадут тебе здесь из канцелярии карточку с печатью, которую в случае необходимости можешь показать полицейским. Это уж там поручик об этих вещах будет помнить, а когда найдёшь, что донести, он проинформирует, где и каким порядком.

Дело казалось оконченным, поручик указал Мацею вторую дверь, ведущую в канцелярию, толкнул его туда, а сам остался с начальником.

Оба недолго помолчали, пока советник не сказал:

– Что-то он по глазам не выглядит живым, по-видимому, не много от него будет выгоды.

– Извините, пане советник, но это в каждом положении, – сказал поручик, – разные есть люди, они необходимы, только нужно знать, как их использовать. Это человек степенный, бедностью принуждённый, и поэтому хорошо, что его никто бояться не будет, а уж я им так поуправляю, что из него мы сделаем агента что называется.

– А, ну посмотрим, будет возможность увидеть, – сказал начальник.

Поручик, несмотря на законченный с виду разговор, стоял по-прежнему, а советник молчанием своим давал ему понять, что мог бы себе пойти прочь.

Тот как-то его не понял, наконец поручик отважился пробормотать:

– Прошу пана начальника, что касается премии?

– Что касается премии, – медленно ответил начальник, – даётся это по-разному, в соответствии от того, какую рыбу поймаете, а кто же это знает уже: щука или плотва?

– Уж прошу пана начальника положиться на меня, что человек будет полезным.

– Ну, ну, выплатят тебе там двести злотых (тут начальник понизил голос), так, как обычно, выбивши на расходы канцелярии...

Поручик грустно опустил голову и спросил тихо:

– Как же я спрошу, пане начальник?

– Ты это уже знаешь.

– Но если можно занести скромной просьбой слово чести, пане советник, что куска хлеба в доме не имею...

На слово *че́сти* начальник издевательски улыбнулся и ответил:

– Ты сам себе виной, не ведёшь правильный образ жизни... но довольно, ваша милость, ты знаешь, что не может быть иначе. Сто злотых возьмёшь на руки, а распишешься за двести, и молчок!

Говоря это, он позвонил, живо вошёл хромой мужчина с пером за ухом в мундире заместителя. Начальник ему что-то прошептал и вместе с ним отправил поручика, прощаясь с ним:

– Иди, иди, моя душечка, води правильный образ жизни и будь честным...

После небольшого истечения времени поручик и Мацей Кузьма оба вышли из дома при Долгой улице, а столяр, удручённый и униженный, не в состоянии сразу пойти исповедаться под фигуру Божьей Матери, полетел домой, чувствуя, как бы его кто гнал, думая, что весь свет знает о его позоре.

Поручик держал в руке те тридцать серебреников, на которые продал человеческую душу, а в совести его затверделой не отозвались даже на мгновение угрызения, клял потихоньку этого пана начальника, который его так вежливо и сладко на сто злотых ограбил, клял клерка, который из оставшихся ста ещё у него десять при выплате вырвал.

Девяносто оставшихся жгли ему руку зависимого пьянчуги. Правда, имел он в кабаках, где догадывались о его обязанностях, и кредит, и бесплатную рюмку водки, но этого не хватало падшему распутнику, который жаждал лакомств, чувствуя хоть грош в кармане.

В душе его происходила ужасная борьба. Родительская любовь, единственное чувство, которое, как искра, сохранялось в этом пепле, говорила ему, приказывала, чтобы эти деньги, которые зарабатывались двойной работой для его содержания и учёбы, отнести Юлку. Зависимость гнала его в шинку. Знал себя хорошо поручик и знал, что раз туда зайдя, не выйдет, пока последний шелонг не пропьёт, боялся сам себя. Хотел бы встретить как можно скорей сына, чтобы ему отдать эти деньги, потому что пустившись в дорогу к дому, чувствовал, что перед первым винным баром поддастся искушению. В этом падшем существе было ещё что-то, что связывало его с миром: он любил сына и для него одного он был способным от себя на жертвы. Он начал думать, где бы его мог найти и вернулся через Белянскую, желая его искать при Академии, около которой его в то время находил. Он даже думал взять извозчика, с тем чтобы уверенней доехать до места, но дрозг на бирже не нашёл. Поэтому пошёл пешком.

В нескольких шагах перед ним шли две женщины, несущие тяжёлую корзину белья. Идя за ними, поручик слышал голос, который его очень поразил; ему показалось, что это был голос его жены, но что бы ей тут делать ночью и с этой тяжестью? Он сократил расстояние. Привыкший к подслушиванию, он из нескольких слов убедился, что женщины возвра-

щались из прачечной, что одной из них была, действительно, его жена, а другой – горничная. Его это удивительно тронуло, так как корзина эта содержала намного больше белья, нежели его было в целом доме. Эта вечерняя экспедиция начала его беспокоить, разные мысли приходили ему в голову, в конце концов, когда доходили до поворота, поручик, не в состоянии выдержать, выбежал вперёд и громыхнул:

– Стой! – остановил он жену.

Женщина так испугалась, что корзина выпала из её рук и часть белья высыпалась на землю.

– Я ловлю тебя на деле! – воскликнул он. – Что это? Куда идёте? Какое это бельё? Говори мне сразу или...

Женщина, вчера такая отважная, сегодня казалась испуганной, хотя совесть её ничто смутить не могло. От поручика мало можно было извлечь на нужды дома и детей, бедная жена работала украдкой, чтобы иметь грош на воспитание сына и дочки. Таилась она оттого, что знала, что муж либо ничего бы ей уже не давал, либо и то, что ещё имела, вырвать или выкрасть сумел бы. Открытие её скудного дохода испугало её, она долго стояла молчащая, потом начала объяснять, запинаясь, несуразно, плача в ответах и утверждая, что больной соседке относил работу, за что та ей что-то там сшить или отработать собиралась.

Трудно понять, почему поручик в этот раз не был настойчивым, не слишком догадливым, выслушал всё, покивал головой и сказал, приближаясь к жене:

– Юлек устанет учиться и ещё зарабатывать, а он молодой, ой, – добавил он, – я немного там достал денег, но чтобы ты полностью мне отдала Юлка! Слышишь? Потому что он больше мне нужен, поклянись же мне...

Женщина, которой это всё как бы казалось счастливым сном, тронутая, мурчала всевозможные горячие просьбы, какие знала, вытягивая руку к поручику.

Но когда пришлось вырвать у него эти деньги, заново началась борьба с его душой. Хотел сначала отдать всё, потом сохранил для себя один бумажный рубль и полрубля мелкими, потом потребовал три рубля, потом сохранил тридцать злотых, пока жена, заметивши это колебание, почти силой не выхватила у него четыре трёхрублёвые бумажки, пряча их как можно быстрее. Муж сперва хотел бороться, но опомнился и крикнул:

– Отдай же в руки Юлка, слышишь!

Женщина, уже ничего не отвечая, схватила за корзину и, не смотря, что с ним делается, дав знак Кахне, поспешила к дому.

Поручик стоял долго как вкопанный на тротуаре, был кислый и злой, что ему не осталось больше десяти злотых. Что делать с десятью злотыми, когда были такие планы на прекрасный ужин в приличном ресторане? Он облизывался от мысли съесть каплуна и полить его доброй мадерой, на это теперь уже хватить не могло; проклиная жену, потому что привык её во всём обвинять, медленно пошёл с решением воздержаться от еды, но обильно принять хорошее вино.

Сделав решение выбора трактира, поручик ещё высчитывал, как бы посильнее напиться на эти десять золотых. Ибо он чувствовал, что в этот раз жена упрёков строгих ему делать не будет. Первоначальная мысль напиться вина уступила гораздо более практичной дегустации водок и ликёров у Липкава. Потому что издавна поручик убедился, что вино – это романтика, а водка – реальность.

Быстрым шагом он вернулся назад, пробежал часть Долгой улицы и вбежал на Медовую. Заведение у Липкава, напротив Апелляционного суда, известно всем, кто когда-либо у ворот святыни справедливости должен был выжидать назначенного часа. Выбор этого места доказывает точный инстинкт предпринимателя, но даже в часах, в которых суды и канцелярии бывают закрыты, Липкав имеет своих верных последователей и установленную репутацию. Поручик нашёл тут ещё более десятка ужинающих особ, а так как по большей части

это были порядочные люди, он как-то устыдился в ту пору пить так одну водку. Он велел себе что-то подать, а тем временем под разными видами ловко подходил к буфету и всё из другой бутылки требовал рюмку. В один из таких переходов от столика к бутылкам ему бросилась в глаза физиономия старого человека в скромной одежде, который что-то ел в стороне и внимательно к нему присматривался. Как это часто после долгих лет невидения случается, поручик чувствовал, что где-то видел этого человека, а вспомнить его не мог. Видимо, также этот господин не был уверен, имел ли перед собой знакомого, но пристально за ним наблюдал.

– Какого черта, Преслер или нет? – отозвался, наконец, голос со столика.

– Это в самом деле я! – сказал, отворачиваясь, поручик. – Пан полковник?

– А ты что тут делаешь? Я был уверен, что ты где-то уже лет двадцать гниёшь в земле.

– А! Ещё нет, – сказал с великим смирением и как бы пристыженно поручик Преслер. –

Давно уже черти должны были бы взять меня, но предпочитают мучить живого.

– Ну, что же с тобой делается? С того времени, как тебя выгнали из армии, что делал?

– А что? Пανε полковник, бедность я ел и бедность меня ела. Как спешно несправедливо прогнали меня из полка, а потом уже нигде человек места нагреть не мог. Забавлялся разной промышленностью, торговлей, и так, так жизнь скромно прошла. Ещё, вдобавок, нужно было человеку жениться, и сварливая баба и двое детей на шее.

Старый человек, которого Преслер называл полковником, поглядел на него с сожалением, молчал, долго думал, исподлобья к нему приглядывался, и сказал тихо:

– Гм, то-то, наверно, муштру и учения ты, должно быть, полностью забыть?

Эти несколько слов произвели на Преслера странное впечатление, ещё минуту назад он был в душе старым солдатом, двусмысленные эти слова припомнили ему, что он был шпионом. Он почувствовал в них какой-то запах подозрения и шибко ответил:

– Ну нет, пане полковник, человек, который однажды в армии научился этому, не забудет.

– Однако это уж давно! – сказал полковник.

– Всё-таки, если бы сегодня понадобилось, – добавил таинственно Преслер, – ещё бы с винтовкой и штыком справился.

Полковник ничего на это не ответил, но задумался, потом вдруг спросил Преслера, не захочет ли он чего-нибудь выпить, угостил его и, вставая со столика, как бы случайно заговорил о жилье. Бывший поручик (который в действительности был только сержантом) немножечко смутился.

– Эх! Я стою там где-то в дыре, где бы там меня кто искал. Пусть только соблаговолит полковник поведать, где он стоит, и буду в его распоряжении.

– Спросишь меня в Саксонском отеле, – сказал он и поспешно вышел.

Брошенный вопрос, припоминание характера полковника и его известной славы патриота пробудили в Преслере профессиональный инстинкт; он думал, что может подвернуться случай выслеживания в этот раз чего-то более важного, чем среди ремесленной челяди. С жадностью дикого зверя, забыв даже о пьяных своих проектах, он выпустил полковника вперёд и выскользнул скоро за ним, выслеживая его шаги.

* * *

Комнатка, которую Юлиан Преслер занимал под чердаком рядом с отцовской, была подобна всем жилищам этого типа – имела одно окно, из которого небо, крыши и летающие ласточки только были видны. Довольно узкая и длинная, она вмещала в себе кровать анахорета, столик студента и бедный инвентарь человека, который ещё ни в каком хозяйстве не нуждался. А вот что сказал Беранже о комнатах на чердаке: *когда тебе двадцать*

лет, естественно быть в этом тесном уголке. Было в ней чисто, радостно и мило; какая-то поэзия молодости наполняла её и освещала. Как сам был Юлиан вокруг себя аккуратный, так и жилище его отмечалось непритязательным порядком, чувствовалось в нём спокойствие души молодого человека. Как в том гнезде беспорядка и шума могла эта молодая птица, с улыбкой на устах и внутренним спокойствием в голове, воспитаться? Понять это было трудно, но родительская любовь творит чудеса, любила его мать, для него работая и стараясь дать ему такое, чтобы мог её уважать, ломался перед ним отец, скрываясь с завистимостями, с образом жизни и заработка. Появление Юлиана каждый раз вызывало тот же эффект, смягчало умы, сеяло согласие. Юлиан, обучаясь по большей части вне дома, очень плохо знал отца и мог его уважать даже издалека. В любом случае, Преслер был используем для таких второстепенных услуг, что его мало кто знал и догадывался о его несчастном призвании. В доме почти никогда о случаях, о делах страны речи не было, а мать в отсутствие мужа не жалела оскорблений для русских, которых на простом народном языке звала, как все – *капустниками*. Имела она к ним обиду за то осквернение мужа, которое душило её с каждым кусочком хлеба.

Известно, какой дух был в обществе всех научных учреждений в королевстве. Несмотря на тщательный подбор учителей боязливых либо безразличных, несмотря на невероятную бдительность и надзор, несмотря на присылаемые научные книги, фальшивящие историю и правду, молодёжь чудесно сохранила национальный дух. Нельзя это назвать иначе, как чудом. В школах Литвы, Волыни и Подола, в глубине Белой Руси студенты выходили, не зная польского, но наилучшими поляками. Объявлялся этот дух часто так очевидно, что должны были его жестоко карать, но это его только раздражало. До сегодняшнего дня на школьных скамьях стоят повырезанные детскими руками имена тех студентов, которые подверглись преследованию. Память их хранилась как реликвия мученичества. Эти памятные посещения школ при царе Николае, в которых этот Ирод издевался над детьми, в смелых взглядах невинности уже ища преступления, прошли как традиция сквозь много поколений студентов, вдохновляя их только на любовь к родине. Даже сыновья немцев и русских, дети полицейских должностных лиц, мальчики, родители которых жили милостями российского правительства, в связи с этим молодым, не испорченным миром проникались чувством чести и росли верными детьми Польши.

Таким образом и молодой Юлиан Преслер мог, не заражённый проступком отца, идти той дорогой, которою шла вся, без исключения, наша молодёжь. В её развитии, в убеждениях были великие различия, возраст, темперамент, зрелость. Самые воодушевлённые были, без сомнения, те, что ещё от земли не выросли, самые горячие были низшие классы, за ними шла Школа агрономов в Маримонте, Школа изобразительных искусств, студенты которой такую важную роль сыграли в последних выступлениях, наконец, Академия медицины. Студенты этой последней, которые были зерном будущей Главной школы, оживлённые горячими чувствами привязанности к стране, показали наибольшую сдержанность и умеренность. Не отстранились они от народа, но становились часто как консервативный элемент в выступлениях, которые слишком быстро толкали вперёд. Ту более зрелую роль они сохранили до конца.

Маримонт и Школа изобразительных искусств шли горячим фронтом, медики, не отступаясь, регулировали этот марш здравым смыслом и рассудительностью. Влияние их на население города, до тех пор, пока управлять им было можно, было очень большим. Не раз челядь и простой люд приходили с ними советоваться и, что удивительно, слепо шли за их советом. Не было отступлений, были доказательства преданности, следовательно, очень осторожное действие приписывали убеждениям, не считая его вовсе за зло.

Того вечера, когда поручик был у Липкава, Юлиан с тремя товарищами находился на совещании в своём жилище на чердаке. Легко догадаться, что там ни о чём больше не гово-

рили, как о текущих событиях. Юлиан принадлежал к наиболее горячим, а его благородный характер, быстрая мысль и очень примерная жизнь добавили ему, несмотря на молодость, облик одного из лидеров академического круга. Трое других – сознательные, старшие и более медлительные, как раз обсуждали с Юлианом способ поведения в будущем. Преслер был того мнения, что следовало идти дружным и равным шагом с Маримонтом и Школой изобразительных искусств, предусматривал он уже, а скорее знал, о неизбежном взрыве, который рано или поздно должен был наступить. Старшие обманывались ещё той надеждой, что, в медленной борьбе вырабатывая дух и приготавливая средства, можно будет отложить восстание. Главным и очень важным аргументом тех, что его сразу видели неподходящим, была необходимость в умиротворении и склонении на свою сторону сельского люда, частью нейтрального, частью враждебного всему, что сюртук носило. Насколько городской люд был готовым и требовал скорее сдерживания, чем добавления энтузиазма, настолько деревни показывали себя холодными и недоверчивыми. Но, с другой стороны, те, которых звали красными, утверждали, что само восстание будет наилучшей школой практического патриотизма для крестьян, что иного способа повлиять на людей никогда бы не допустила московская бдительность, а когда это действие было возможным, потребовалось бы такое долгое время, что в итоге взрыв необходимо было бы отложить на неопределённые годы. Горячих горожан сдерживали обещаниями разного вида, откладывая со дня на день, но в итоге роптали они, подозревали в измене, выходили из терпения. Этот энтузиазм жителей городов и среднего класса не был, как мы видим, вовсе придуманным, дали они доказательства такой преданности, такой настойчивости и мужества, что, может быть, пальма мученичества перед всеми будет принадлежать им.

Дебаты шли очень быстро, а положение умеренных, хотя были трое на одного, становилось всё более неприятным. Запал имеет в себе то, что побеждает самые логичные аргументы, потому что запал есть уже зародышом действия, когда рассуждения есть всегда ещё словом. Охваченные постепенно чувством Юлиана, его товарищи смягчались, почти устыдясь своего рассудка.

Ожидали ещё прибытия нескольких коллег, когда мать, вернувшись из города с деньгами, вырванными у отца, не в силах выдержать, побежала прямо к сыну, чтобы немедленно их отдать. Подойдя к двери, слыша внутри громкий разговор, она остановилась перед порогом и поневоле начала прислушиваться. Сквозь тонкую дверь проходил звонкий голос Юлиана, такой знакомый матери, такой милый её уху, что она наслаждалась им, как музыкой, Юлиан говорил:

– Братья! И разум, и осторожность есть прекрасные качества в здоровом ходе жизни, но напрасно ими хочу управлять в критические минуты, когда горячка ясновидящая и проще приводящая к цели. Вы будете иметь сто раз верность без эмоций, но вас самих победит и захватит моё безумие. Даже без той веры, какую имею я, я уверен, вы пойдёте за мной! Московское правительство называет это революционным терроризмом, а будет это только терроризм святого чувства, которому ничто противостоять не может. Приходят такие минуты, в которых и человек, и народ могут превознести геройскую смерть над униженной жизнью, тогда, как инстинкты самосохранения содрогаются могиле, дух с радостью к ней раскрывает крылья.

Слушая эту речь, которой ухватила только главную мысль, мать вздрогнула, залилась слезами, взор её с отвращением упал на деньги, которые несла, и она убежала с ними в свою комнату, вся заплаканная, заламывая руки. В этой женщине, которую раздавили жизнь с ничтожным человеком, бедность и работа, отозвалось какое-то чувство, зажжённое любовью к ребёнку. Она припомнила себе борьбу за эти гроши с мужем на улице, происхождение этого заработка, и бумажки, которые несла с такой радостью, бросила на стол с презрением. Но сию минуту пришла на ум тяжёлая работа бедного Юлиана, необходимость облегчить

ему, уверенность, что он не знает, не догадывается, откуда пришли эти проклятые деньги и оплатой чего они были. Она вбежала повторно и с поспешностью постучала в дверь Юлка.

Юноша её вовсе не ожидал; потому что она не имела привычки приходить в этот час, а так как ожидали прибытия товарищей, голос изнутри дал только знак войти.

Мать приотворила дверь, но ещё раз устыдилась чего-то, колебалась, и вернулась снова вниз. Подумала, что сделает гораздо лучше, меньше будет нуждаться в объяснениях, когда деньги непосредственно через сестру отошлёт брату.

Девочка, которую вчера мы видели спящей так спокойно, сидела теперь над работой у окна. Была она не менее красивой, чем брат, хотя что-то в её чертах напоминало немного отца, но великая привлекательность молодости придавала её личику, свежему, белому и румяному, очарование весеннего цветка. Мать, поцеловав её в лоб, шепнула несколько слов и отправила наверх. У Юлка был большой переполох, этот стук и наполовину открытая дверь велели бояться подслушивания, но Розия, которая в ту минуту вбежала с улыбкой, успокоила страхи. Они поняли, почему так трудно было несмелой девочке очутиться с тем посольством среди разгорячённой молодёжи. Когда она вошла, Юлиан сильно задумался над происхождением этого материнского подарка, но на столе были более срочные дела.

– Мы говорили о взносе, – сказал Юлиан, – на первые необходимые дела, вот в пору, словно с неба, падают мне деньги, которые мне вовсе не нужны и я делаю из них очень охотную жертву.... пусть это будет жертва вдовы в народную казну. *Crescite et multiplicamini!*¹ – добавил он, бросая на стол бумажки с улыбкой.

А через мгновение, подняв руку вверх, торжественно сказал:

– Братья! Пусть живёт Польша! Пусть погибнут её враги!

* * *

На следующий день в сером сумраке Мацей Кузьма, которому этот день казался веком, стоял заранее под фигурой Матери Божьей напротив Благотворительности. Он постоянно осматривался, беспокоило молясь в действительности, чтобы ему Господь Бог скорее послал избавителя, который бы успокоил его тревогу.

Через мгновение, услышав неподалёку покашливание, он обернулся и увидел блондина, который кивал ему с тротуара. Они вместе пошли улицей, хорошо оглядываясь, чтобы никого не было за ними.

Мацей рассказал слово в слово всю свою историю, добавляя к ней, что ему обязательство, на него возложенное, казалось невыносимо тяжёлым.

– Мой брат, – сказал блондин, – ничто не приходит легко, вы уже принесли большую услугу, занимая это место, которое другой, действительно опасный человек, мог получить.

– Но смилуйтесь, – прервал Мацей, – как я дальше из этого выйду? Пошлют меня, прикажут что-то доносить, что я им скажу?

– Слушай, – сказал блондин, – и мы также имеем неплохую полицию, мы знаем, что делает правительство, знаем агентов, которых оно использует для подстрекательства населения и вылавливания этим способом горячих. Мы укажем тебе этих правительственных фальшивых братьев, ты будешь на них доносить и сделаешь им ещё услугу, потому что ты засвидетельствуешь о их рвении. Мы же через тебя будем удерживать, где необходимо, остерегать потихоньку честных людей, чтобы тем крикунам не верили.

– Сегодня, дорогой пане Мацей, в кабаке при Граничной улице соберётся очень много подговорённых московскими агентами, а полиция, когда все соберутся и лучше шуметь будут, собирается окружить дом и выбрать тех, на которых укажут предатели. Идите же сей-

¹ Плодитесь и размножайтесь (лат.)

час к тому кабаку, ничто вас не остановит, потому что уже карточку свою имеете, во время, как челядь будет собираться, предостерегайте, чем это пахнет. Если бы немного шпионов перетрясти хотели, ничем бы это не повредило. Вы узнаете их по тому, что на спине они будут иметь понаделанные белым мелом кружки.

Получив такую инструкцию, Кузьма усердно поспешил на Граничную улицу. Кабак находился, как обычно, в низине и был избой очень обширной, но вовсе не изысканной.

Хозяин, немец, был очень подозрителен на шпионаж, что ему вовсе не мешало в многочисленных собраниях кричать: «*Фифат! Фифат, паны поляки!*» и говорить о *лупимой ойишисне*.

Когда Мацей пришёл, он застал только четырёх или пятерых совещающихся в уголке и убедился, оглядев их, что все имели кружок на спинах. Они ожидали уже плод своих работ.

Мацей, велев дать ему пива, выбежал как можно быстрее в сени, желая встать на страже и предупреждать прибывающих, но едва выскользнул, когда нос в нос встретился с поручиком, который тоже сюда направлялся. Он направил взор на его спину, кружка ещё на ней не было.

Поручик очень изумился.

— Кто тебя сюда прислал?

— Кто? Никто. Я сам пришёл.

— Сам? Ну, дьявольский у тебя нос, но не будьте так уж усердны, потому что из этого ничего не выйдет. Поскольку, однако, ты пришёл, иди со мной, я тебе расскажу, что ты должен делать.

Мацей почувствовал себя парализованным, трудно ему уже теперь было отыграть свою роль. Они прошли тёмной сенью, в которой никого не было, а когда поручик первым переступил порог, Кузьма с удивлением увидел на его спине большой круг, немного только с поспешностью и неправильно наложенный, когда и как, он не мог отгадать.

Кузьма не много слушал, что ему говорил поручик, огляделся только, посмотрел всем на спины и не знал, что начать, видя всё большие толпы наплывающих работников. Между ними с большим удивлением он заметил того самого блондина, который недавно давал ему инструкцию, побежал он, таким образом, как можно живей, к нему, чтобы объяснить своё положение. Блондин уже обо всём знал и отослал его к дверям. Было большим счастьем для Кузьмы, что ему его физиономия хорошо врезалась в память, потому что парень сменил одежду, даже немного испачкал лицо и выглядел на простого челядника.

Когда внутренность кабака очень быстро заполнилась приходящими ремесленниками, в его дверях, не замеченная почти никем, произошла сцена, которая не продолжалась и пяти минут.

Кузьма, стоящий на пороге, увидел молодого, очень красивого юношу, кототорый показался ему переодетым, входящего несмело в кабак; в момент, когда уже собирался переступить его порог, как раз подходил в ту сторону поручик. Молодой человек только тихо вскрикнул: «Отец!» и очень живо отступил. Был это Юлиан, который испугался, как бы отец его, Преслер, не узнал.

Посмотрев на спину, Кузьма остановил его и, указывая Преслера, быстро сказал ему на ухо:

— Видишь? Тот в шляпе, с усами, кружок на спине, называют его поручиком, это шпион, это московский шпион!

На эти слова Юлиан, которого Кузьма задержал за руку, крикнул каким-то отчаянным голосом, закрыл себе глаза и, как поражённый молнией, выбежал, бессознательный, на улицу. Что происходило в сердце молодого человека, описать невозможно, ужас, боль, безумие были так велики, что, как сумасшедший, летел он, убегая от того места, в котором этот удар его застал. Прохожие могли его принять за беглеца из сумасшедшего дома, либо пресле-

дуемого вора. Он не знал, куда и как шёл, спотыкался, падал, поднимался и, болезненно стона, запыхавшийся, розгорячённый, пробежавший огромное пространство без передышки, оказался он во дворе на Дзеканке. Пролетел через лестницу, не otvorил, а почти выбил собой дверь и упал, утомлённый, у ног испуганной матери.

Женщина так ужаснулась, когда увидела его, чувствуя, что любимому ребёнку что-то угрожает, что, прежде чем спросила его, она отозвалась страшным стоном. Юлиан лежал полуживой, а носом и ртом у него текла кровь.

Он был в таком состоянии, что из него слова выпытать было невозможно. Заплаканная мать опустилась перед ним на колени, сама не ведая, что начать, попеременно догадываясь то о каком-то случае, инвалидности, то о чём-то чрезвычайном, что её ум угадать не смел. Она далёкой была от правды, догадывалась, что он был преследуем вместе с другими академиками, кровь, текущая из уст, казалось, говорит о каком-то ударе и насилии. Вместе с Розией обливали его водой, а мать будила самыми лучшими словами, Юлиан, однако, не говорил ещё, только стонал, и, открыв глаза, с каждым разом, словно уштрашённый тем, что видел, спешно закрывал их. Через минуту ожидания и наилучших напрасных усилий Розия, по собственному умыслу, побежала к соседнему дому за доктором. Был это молодой, лишь около года проживающий в Варшаве израильянин, известный как один из ревностных работников по приобщению до этого изолированного от общества племени, которое имело право и обязательство заботиться о гражданах Польши. Доктор Майер, по счастью, был дома, знал близко Юлиана, потому что тот в одной из специальных клиник заменял переводчика. Розия рассказала ему, как было, что Юлиан вернулся задыхающийся, бессознательный, очень уставший, упал, ртом и носом бросилась кровь и слова от него нельзя было добиться. Майер сразу догадался, что в этом должно быть что-то таинственное, и поспешил на помощь. Он нашёл молодого человека ещё растянутым на полу и мать над ним, кричащую в отчаянии. Он уже знал обо всём, не спрашивая, поэтому, хотел изучить состояние Юлиана, с тем чтобы сделать из него какой-то вывод. Но учащённый пульс, раздражённое лицо, кровь, которая бежала у него по груди, означали только сильное утомление и свидетельствовали о потрясении. Услышав голос доктора, Юлиан, словно заново испуганный им, содрогнулся, вскочил, сел, и, отвернувшись, пытался прийти в чувство. Тревога, лишь бы кто-то чужой не догадался о страшной тайне, придавала ему сил. На вопрос Майера он решил солгать и поведал ему, что гнались за ним казаки, что чуть в их руки не попался, и этот спешный бег, смешанный со страхом, был причиной болезни.

Но эта быстро выдуманная ложь не имела ни малейшего характера вероятности; ни лекарь, ни мать не поверили ему, только оба поняли, что Юлиан, видно, причины происшествия рассказать не мог. Лучший знаток людского сердца и страданий человека, Майер понял и то ещё, что причина тревоги и беспокойства не была устранена. Уважая всё же тайну Юлиана, убедившись, что кровопускание не было обязательно нужным, прописал отдых, какой-то охлаждающий напиток, и ушёл. Когда остались с матерью с глазу на глаз, ибо Розия побежала в аптеку, попробовала она урвать хоть слово из закрытых уст сына, но вперёд только слёзы извлекла, говорить он ещё не мог, боясь так убить мать, как сам был убит; он не знал, что она много лет жила этим ядом. Напрасно она старалась самыми нежными ласками получить признание; забывшись немного, вырвалось у него только из груди, повторенное несколько раз: «Отец! Отец!»

Это слово облило кровью лицо женщины, она уже почти обо всём догадалась. Объяснилась ей отчаяние сына.

— Говори, ничего не тая передо мной, — сказала она ему. — Тебе будет легче, когда пожалеешь, всё дело в отце, может тебе что про него поведали? Он имеет столько врагов! Я прошу тебя, скажи мне.

Но Юлиан собраться не мог с силой признаться даже перед матерью.

Несколько тяжёлых часов пробежали так в столах, слезах и ожидании; в конце концов Юлиан, немного успокоенный, ни в чём не желая признаваться матери, пошёл наверх с мыслью ожидания возвращения отца. Комната поручика была отделена от его комнатки тонкой стенкой так, что он мог вычислить его возвращение.

Когда это происходило на Дзеканке, в кабаке при Граничной улице также живо приготавливалась сцена. Нужно было знать горячий нрав варшавской ремесленной челяди, чтобы понять, как трудно её сдерживать в проявлениях патриотизма.

Хотя и Кузьма, и несколько переодетых академиков остерегали большую часть приходящих о шпионах, которые уже были узнаны, и о собирающемся вторжении полиции, шумные и громкие разговоры и выкрики показывали нетерпеливость этого люда, который рвался к действию. Люди более сдержанные, больше размышляющие, расточающие запал на слова, легче выдерживают ожидание, люд, весь одержимый чувством, должен прямо переходить от чувства к действию. Ремесленники, не занимаясь политикой, не считая, не беспокоясь о завтрашнем дне, хотели борьбы ради самой борьбы, хотя бы даже без победы. Речь шла о той минуте, в которую бы отомстили за постоянные унижения, а потом? Хотя бы смерть!

Такой великой преданности без какой-либо надежды на результат не годилось принимать, но также невозможно было её остановить, потому что запал рос с каждым днём; а когда те честные сыны страны требовали себе смерти, упрекая в трусости тех, кто её боялся, было ли средство показать им опасность и бесполезность жертвы?

Среди самых горячих требований организации, оружия, командующих, к тем шумящим кучкам пришла новость о находящихся шпионах, и началось совещание о способе быстрее с ними расправиться, пока бы не пришла полиция.

В одно мгновение организовали это экстренное правосудие. Несколько младших расставили на карауле, чтобы вовремя дали знать о приходящей вооружённой силе, более сильных же вызвали на то, чтобы отмеченных кружками разделить, окружить и в ссору ввести.

Когда поручик попивал спокойно пиво, к нему подошёл страшный здоровяк, который сел у того же столика и начал с ним беседовать. Поначалу была она ничего не значащей, но незнакомец начал себе позволять такие шутки, что Преслер, который уважал в себе опору трона, начал уже гневаться.

– Дорогой мой, – сказал этот высокий мужчина поручику, – я чувствую, что ты должен был где-то служить в войске.

– Может, вы правы, но я попросил бы меня не касаться.

– Почему, дорогой мой?

– Потому что так близко мы не знакомы.

– То, что ты меня не знаешь, это с твоей стороны очень большой грех, ты должен знать всех таких, как я.

– Для чего?

– А пощупай-ка карманы, у тебя, наверно, там карточка?

– Что за карточка?

– Я уж тебе этого не говорю, потому что знаю, что догадаешься. Но слушай-ка, сегодня это тебе плашмя не пройдёт, чтобы ты сюда влезал. Следовательно, выбирай: предпочитаешь двадцать палок, или чтобы я тебе на лбу смолой написал, кто ты?

Поручик сорвался со стула и хотел к дверям, но почувствовал, что его держат сзади, взялся за трость, но не мог действовать руками, собрал сколько хватило силы, зовя на помощь, но в ту же минуту та же операция проводилась с несколькими его товарищами и подчинёнными. Каждый думал о себе. Преслер оказался в руках нескольких сильных челядников, которые страшно начали его лупить. Почти с отчаянием, думая, что для него уже пробил последний час, заслонялся руками, падал, катался по полу, пытаясь, на сколько ему позволяла память, приблизиться к дверям. Однако не скоро, сильно побитый, он спрятался

в сенях и, не смея выбежать на улицу, скатился по ступенькам в подвал, где его уже кто-то опередил. Он просидел там в молчании, не смея испустить вздох, пока всё не утихло.

После избиения шпионов вся ремесленная челядь рассыпалась так быстро, что, когда прибежала вооружённая сила, которую заранее вызвал хозяин-немец, никого уже не было, кроме двоих наиболее побитых в комнате, и Преслер с незнакомым товарищем в тоннеле подвала.

Самым забавным из всего было то, что агенты полиции никого из виновных по фамилии назвать не могли, потому что их не знали. Даже хозяин-немец который охотно бы указал нарушителей спокойствия, клялся, что ни один из сегодняшних гостей не принадлежал к тем, кто обычно тут присутствовал. Были это, по-видимому, рабочие из других районов города, умышленно в ту экспедицию отправленные.

Когда Преслер, хорошо осмотревшись, вылез наконец, из своего приюта и вошёл в опустевшую баварию, чтобы там поискать потерянную шляпу и чем-нибудь подкрепиться, застал уже на поле боя одну полицию, пострадавших и хозяина в шапочке, жаловавшегося на тех *беспокойны поляки*.

Преслер был больше похож на привидение, чем на живого человека, бледный, в синяках, испуганный и гневный. И он также не мог назвать ни одной фамилии. Таким образом, это было бесспорное поражение полиции. Избитые и целые утешались водкой, которую обильно доставил немец, испуганный судьбой своего заведения, совещаясь над рапортом, какой собирались составить, чтобы утаить своё поражение. Поручик, позаимствовав шапку, ибо его разодранная наполовину шляпа была похожа на дохлую летучую мышь, медленно двинулся к дому, тяжело вздыхая над перебитыми костями. В этот раз даже обильно поглощённая водка на его голову никакого влияния не имела.

Хотя в несчастном своём положении его встречали различные обстоятельства, в первый раз, однако Преслер был, по-видимому, так конкретно и больно наказан. Итак, глубоко размышлял он над всё более чёрно выглядящей будущностью, но полученные удары также пробудили в нём гнев и злость. Он хотел отомстить виновным этого покушения, которые посмели такого высокого чиновника поколотить.

– Я им дам, я их научу! – бормотал он всю дорогу. – Я им этого не прощу, раскрою, найду, и будут они болтаться, как я Преслер, как я Преслер, будут болтаться паньчи.

Он отметил себе несколько выразительных физиономий, а особенно того высокого верзилу, которого он считал за первую причину всего скандала.

– Уж, пожалуй, жив не буду, или он под землёй скроется, если бв я его в Варшаве не нашёл, а потом, когда эту шельму повесят, рассчитаюсь уже с ремеслом. Лишь бы только Юлек вышел на доктора, пусть их черти возьмут, служить не буду, стану честным человеком; потому что тут такие опасные вещи, что человек и в жизни не уверен никогда.

В этих мыслях, немного раньше, чем обычно, и более покорный, чем привычно, вошёл потихоньку в комнату. Жена узнала его по походке и живо побежала к нему.

– Говори, – закричала она, – что сделал Юлку, говори, преступник! Ты же готов собственному ребёнку камень привязать на шею.

Она двинулась на него, с такой импульсивностью хватая его за горло, что поручик, и так уже ослабленный, пошатнулся и отступил.

– Говори, что сделал Юлку!

– Но я Юлка в глаза не видел, сумасшедшая женщина! Что же с ним случилось?

Но из-за слёз и отчаяния несчастной матери трудно было что узнать. Поручик повторил, напуганный:

– Где же Юлек? Что с Юлком?

Розия, которая прибежала, с многословием ребёнка, из которого ещё полностью не выросла, начала быстро говорить:

– Папочка! Юлек вернулся домой как безумный, кровь у него текла ртом и носом, мне пришлось идти за паном Майером, который ему прописал какое-то лекарство. Лишь недавно он чуточку успокоился и пошёл в свою комнату.

Поручик, который так любил сына, что для него всем бы пожертвовал, побледнел и испугался.

Собственное страдание уже почти полностью вышло из его памяти, тревога за сына преодолела её и победила.

– Юлек! – воскликнул он. – Юлек болен! Но чем же я в том виновен?

– Ты во всём виновен! – крикнула мать. – Страдаем из-за тебя и с тобой. Юлек ничего мне рассказать не хотел, но несколько раз у него случайно вырвалась как бы жалоба на тебя. В том есть твоя работа, недостойный человек, говори, говори, что ты ему учинил?

Поручик, тронутый болью, не мог понять, что произошло, не понял этого нападения, но страх за сына не позволил ему дольше тянуть эту неопределённость; не слушая жены, которая за ним бегала, сетуя, полетел наверх прямо в комнату сына; отворил дверь и вдруг подбежал к постели, на которой лежал бледный Юлек. Мать направлялась за ним.

Сын, как только увидел отца, со всей силой вскочил, видно было, что его немного лихорадило, подступил к входящей матери и сказал ей мягко:

– Прошу тебя, оставь нас одних.

Минуту поколебавшись и выразительно посмотрев на мужа, послушная мать уступила, но беспокоило, потому что не ушёл от её взора пистолет, лежащий на постеле Юлиана.

В голове поручика кипело и переворачивалось, какая-то странная тревога схватила его за сердце в присутствии собственного сына.

Юлиан, не будучи спокойным, был, однако, немного успокоенным и господином себе. Когда мать вышла, он закрыл за нею дверь на ключ.

– Вы слишком хорошо воспитали меня, отец мой, – сказал он медленно, – чтобы я не знал, что от меня причитается родителям. Я знаю и то, что ни ребёнок за родителей, ни родители за ребёнка перед справедливым судом Бога и людей ответить не могут, но само Божье право так связало семью, что любой, кто затрагивает одного из её членов гордостью либо позором, отражается на всех. Отец, скажи мне, неужели мне отнять у себя жизнь от отчаяния? Правда ли то, что меня сегодня чуть не убило?..

Юлиану не хватило мужества, поручик обо всём догадался, а любовь к ребёнку вдохновила его какой-то неограниченной наглостью.

– Что? Что правда? Говори!

Юлиан ещё колебался.

– Говори мне сейчас.

– Ты служишь правительству?

– Я? Правительству? Я? Кто же тебе это сказал? Я? Старый военный! Который за отчизну кровь проливал! – он ударил себя в грудь.

– Откуда же эта клевета? Кто смел её бросить, говори, чтобы я ему язык выдрал изо рта. Кто тебе это рассказал?? Кто! Кто? Кто?

Поручик говорил это с такой горячностью, так хотел сына обмануть и так отчаявшемуся ребёнку выдал себя возмущённым, что Юлиан, страшно побледневший, со сложенными руками, пал перед ним на колени, а потом лицом на землю, обнимая его ноги.

– Отец! – воскликнул он, тронутый. – Прости! Прости! Забудь! Дело о тебе, о всех нас. В тот миг, когда поднимется отчизна, услышать такие обвинения есть смертным приговором. Признаюсь тебе, я не мог бы выдержать осквернение нашего имени. Смотри! Вот заряженное оружие, я хотел лишиться себя жизни.

Поручик едва держался на ногах, но боязнь за сына прибавляла ему сил на героическую ложь.

– О! Люди, – воскликнул он, – кого ж этот злобный язык не коснётся! И меня? И меня? Что сражался за страну, что, преследуемый, переносу нужду, меня смели заподозрить.

Тут он остановился и внезапно спросил:

– Где же? Кто тебе это поведал?

– А! Не знаю! Не знаю его! Этот преступник указал мне на тебя рукой и дважды повторил: «*Это шпион*»...

Поручик ужасно возмутился, ходил по комнате, сетуя, проклиная, клянясь перед сыном, что это была наиотвратительнейшая клевета.

Добродушный Юлиан думал только, как бы отца убаюкать и успокоить. Он ходил за ним, целовал ему руки, извинялся. Преслер первый раз в жизни играл так хорошо комедию, что его в ней заподозрить было нельзя, сын клялся, что если бы второй раз встретил человека (лица которого по счастью не видел) жизни бы его лишил.

Так окончилась эта сцена между отцом и ребёнком, но, взволнованный ею Преслер, хоть боялся жены, пошёл ещё к ней. Лгать перед ней было нельзя, она всё знала.

– Слушай, – сказал он, бросая на неё огненный взгляд, – знаешь ты что или нет?

– Я говорила тебе, что ничего не знаю.

– Юлиану какой-то дьявол рассказал, что я шпиик, Юлиан хотел себе в голову выстрелить! Я его успокоил, поклялся, смотри же, женщина, чтобы он ничего не проведал! Я у тебя жизнь вырву!

Жена оттолкнула его с презрением.

– Молчи! – сказала. – Ты не имеешь права никому из нас угрожать, никому делать упрёков; ты же такой падший, что ни отцом в доме, ни мужем не годен называться; ты же продажный московский слуга! А если когда на нас падёт месть Божья, то это за тебя. Не угрожай, молчи, иди и пей свой позор.

Говоря это, она отсупила от него и медленно пошла в комнатку сына. На небе взошла луна, Юлиан отворил окно и, успокоенный, почти счастливый, смотрел на прояснившиеся своды, наполняясь весенним воздухом. Это смотрение на Божий свет было для него молитвой. Только мгновениями воспоминание событий, думы, что кто-то был на свете, кто смел это страшное обвинение его отцу учинить, омрачало его лицо; он почувствовал мать близко от себя и улыбнулся ей, дабы успокоить.

– Идите спать, – сказал он, – мне уже хорошо, мне уже ничего, будьте спокойны! Я счастлив!

* * *

В первые дни после описанных событий поручик ходил вдвойне – морально и физически – удручённый, его пыл значительно убавился, он не брался так горячо, как прежде за своё ремесло, исполнял его с неохотой, можно было думать, что хочет отказаться. Но кого однажды своими когтями эта сатанинская сила схватит, того из них так легко не выпустит. Позванный, он должен быть послушным, припоминались также полученные удары и месть питала, а память испытанного страха с Юлианом медленно расплывалась. Пил только снова, больше, чем раньше, и возвращался домой молчащий, хмурый, бессознательный, жена толкала его на кровать с презрением и чаще спал даже не снимая одежды. Лишь к утру пробудившись, украдкой её с себя стягивал.

Но по истечению некоторого времени, всё вернулось на старую колею.

Поручик был старым Преслером, а какая-то полученная премия пробудила в нём понемногу притёртое рвение.

Он забыл было полностью о полковнике, с которым встретился у Липкава, и о шпионаже за ним, когда через пару недель столкнулся с ним на улице.

– Что же ты так исчез? – сказал ему полковник.

Обычная отговорка пришла на уста Преслеру, он сказал, что был болен несколько дней.

– Что-то ты так же и бедно выглядишь, – добавил старый вояка, – если бы когда пришёл ко мне, как бы мы ширше поговорили, может, я тебе на что пригодился бы, а ты – мне...

Преслер поклонился и решил воспользоваться приглашением.

Словечко о полковнике.

Был это солдат с 31 года, один из тех редких людей, которых тридцать лет страданий и размышлений не остудили в деле страны. Нет необходимости настаивать на огромной разнице двух революций, разделённых между собой более чем четвертью века; если бы первая из них имела дух второй, либо вторая – те материальные ресурсы, какие служили первой, Польша была бы уже свободной. Когда из сегодняшнего нашего положения мы смотрим на революцию 31 года и сравниваем её с сегодняшней, бросается нам в глаза неслыханный прогресс, усиление духа, единство, каких в то время не было, самоотверженность гораздо более общая и дальше идущая. Но также само начало первой революции 31 года и её характер были полностью другими. Там во главе стояли личности, единицы, здесь – безымянное общество, там народ шёл проложенной дорогой, повторяя чужие деяния, здесь – утверждается инстинктивно форма характерная действию, наша собственная, подходящая к обстоятельствам; там во главе стояло войско и шляхта, тут – средний класс, мещане, ремесленники, молодёжь, евреи.

В 31 году женщины из окон только бросали букеты, сегодня – полны ими Сибирь и цитадели. Разница чрезвычайно большая: Хлопицкий, Скжинецкий, Радзивилл, Круковецкий и т. д., сегодня – Цвек, Вавр, Крюк, Босак, Фриче, неизвестные имена, а отменного героизма. Там делали люди, тут – сотрудничало всё население, там были партии, здесь – единый народ, без разницы положения, религии, пола и возраста. Если бы мы писали историю, а не простой рассказ о повседневных событиях того времени, надлежало бы, указывая эту разницу, показать в то же время, что без кровавой и несчастливой пробы 1831 года, год 63 был бы невозможен. Теми ошибками первой революции мы очень воспользовались, годы страданий дали зрелость, воспользовались также и чужими опытами и прежде всего, скажем откровенную правду, мы не устыдимся признаться, что в руках людей разумных, опытных, серьёзных, все эти чудеса, которые сегодня происходят, были бы невозможны.

Нужно было слепой веры, сумасбродства неопытности и молодости, чтобы так броситься на сто крат более мощного врага и нанести ему такое тяжёлое поражение. Материально притеснённые, морально получаем огромную победу, срываем маску, показываем миру беспомощность той силы, перед которой недавно дрожала Европа. Всем этим мы обязаны единству, внутреннему согласию и повиновению, которое лишь бы до конца выдержать могло!!

Полковник Загребский, которого обычно молодёжь, любящая уменьшать и изменять имена, звала старым Загребой, был это храбрый солдат с 31 года, который ничего не забыл и многому научился. Хоть поседел, с переломом на теле, духом остался молод; постоянное общение с молодёжью, которую любил, удерживало его в той черствости, которая является даром избранных. Лет тридцать провёл он то в своей деревне, которую имел под Плоцком, то в Варшаве, то где было можно, за границей.

Падение первой революции надломило его, но не отняло у него надежду, он повторял песенку с 31 года:

*То, что сегодня не удалось
Может завтра получиться...*

Самое маленькое движение в Европе, каждая искорка надежды, тут же его воспламеняла, он прилетал в Варшаву, беспокойный, выясняя, что там делается и заставлял чаще всего людей зевающих и удивлённых, что ему в деревне что-то смешное приснилось!!

Лишь в 1861 приехав в Варшаву, он безмерно обрадовался, обратив внимание, что намечается что-то более серьёзное. Затем приступил всем сердцем и душой к начинающемуся движению. Бездетный вдовец, он принял себе как сыновей всех ревностных работников освобождения, был их наставником, советником, часто кассиром и самым сердечным товарищем. Любили Загребу также как отца.

При чрезмерном энтузиазме полковник не грешил избыточной осторожностью, был немного фаталистом, часто повторял: кто должен висеть, не утонет, а кто должен жить, того червяки не съедят. В деле страны он вёл себя почти вызывающе, но ему очень счастливо везло. Когда другие окружались наизабавнейшими осторожностями, он лишь вёл себя по необходимости. Хотя во время, о котором речь, взрыв казался ещё далеко, молодёжь, однако же, горела, желая готовиться к нему, вырывала себе и переписывала книжечки о муштре пехоты, езде, повстанцах, о партизанской войне, мы ещё ни одного карабина не имели, когда деревянными ружьями молодёжь по пустынным углам училась пользоваться оружием. Естественно, для этих секретных муштр, для этих потаённых лекций Загреба был использован как учитель и помощник, но старик всё растущей численности своих учеников и их настойчивости охватить не мог. Он искал себе помощников и при первой встрече с Преслером думал его изучить и использовать для своей замены. На самом деле он не очень с ним обговаривал то, за что был выгнан из армии, но полковник плохо себе припоминал причину того наказания, ему казалось, что это был какой-то маленький проступок, который слишком сурово наказали. С людьми было тяжело, следовательно, он брал первого, какого нашёл под рукой.

Преслер ещё не догадался, для чего он мог быть использован, но каким-то предчувствием играл перед полковником роль великого патриота. Добродушный старик не обвинял никогда и никого во лжи того чувства, ему казалось невозможным, чтобы кто-то мог совершить подобное святотатство. Таким образом, не открываясь ещё полностью Преслеру, дал ему только понять, что его для чего-то можно использовать в общем деле. В первые минуты, когда об этом узнал поручик, он встревожился и вместе с тем обрадовался. До сих пор он имел только миссию выслеживания мелких вещей совсем незначительного веса, тут ему выпадал счастливый случай, который действительно много мог принести, но в то же время подвергал его огласки и опасности. Хотя распущенный Преслер сильно колебался, его отталкивала уродливость поступка, тревога за сына, который о нём мог проведать, но с другой стороны, если бы сохранялась тайна, мог много приобрести. Полковник в этот раз более осторожный, чем когда-либо, не имея от кого узнать о человеке, решил сам в это вникать, велел ему каждый день приходить к себе и понемногу с ним знакомился. Преслер не был ему симпатичен, он открыл в нём сразу пьяницу, но имел какую-то слабость к любителям и всегда утверждал, что склонность к алкогольным напиткам доказывает честность, потому что, кто имеет что скрывать, тот всегда боится напиться.

В это время совещаний и проектов организаций, когда, несмотря на уже достаточно острые меры, принятые Москвой, всё сосредотачивалось и приводилось в порядок, однажды поздно ночью полковник, расставшись с Преслером, вышел в город. Хотя он вовсе ему не говорил о цели своей экспедиции, шпион легко догадался, что он шёл на какую-то сходку, и, не будучи ещё уверенным в пользе этого, из свойственного ремеслу интереса, потащился за стариком на расстоянии.

Скоро приобрёл он полную уверенность, что не ошибся, потому что полковник крутыми улочками пошёл к одной из больших фабрик, переделанной из старого костёла и монастыря. Это здание, расположенное достаточно отдалённо, оживлённое только днём, имело

вид полностью заброшенный. Все ворота были закрыты, ни в одном окне не светилося, вокруг не было признаков жизни. Вдалеке стоящий Преслер слышал только стук и посчитал сколько раз и как ударили в дверь.

– Ого! – сказал он в духе. – Тут что-то есть!!

Но войти далее за полковником было невозможно. Преслер, притулившись к забору напротив и защитившись от людских глаз, остался на страже. Он видел, как ещё несколько особ стучали в те же ворота, тем же самым способом, потом, после нескольких часов ожидания, убедился, как все в молчании разошлись, и не зная ещё, какую из той новости вытянуть пользу, пошёл с ней домой.

Мы пойдём за полковником.

Перейдя пустой двор монастыря, который уже сегодня потерял характер, какой имел раньше, Загребя через сводчатые дверочки очутился в нижней зале, которая раньше была трапезной монастыря.

Архитектура, стрельчатые своды, узкие окна, рамы дверей напоминали ещё о бывшем её предназначении. Сегодня это был склад различных железных материалов, необходимых на фабрике. Они странно контрастировали в этом месте, некогда для тихих монашеских трапез предназначенном. Большая часть трапезной не была занята, в более свободные дни и вечера тут размещалась ремесленная школа, следовательно, были скамьи, стол и пара скромных ламп возле стен. Когда вошёл полковник, здесь уже находилось несколько особ. Были это, по-видимому, все люди среднего положения, но разных занятий и назначения. По чертам лица можно было узнать нескольких израильтян, в первый раз разделяющих работу и опасности своих братьев. Приносили они с собой в общую казну характерную для них хитрость и настойчивость, опыт в таинственно тихие дела, которыми среди преследований сохранялись на протяжении веков, пример великой сплочённости; и, наконец, материальные ресурсы, которыми не брезговали. Шляхта, которую трудно вылечить от давних суеверий, видя преимущества этого примера, принимая их, не могла, однако, до конца освоиться с той мыслью, что придётся, может, в преданности и рвении уступить не одному еврею. Нельзя отрицать, что поздно заключённое соглашение было с обеих сторон откровенным и сердечным, но чтобы стало реальностью, необходимы были ещё время и работа. Казалось, что будущее доделает этот труд, так торжественно начатый в дни второго марта.

Отец Серафим, которого мы немного знаем из первого романа², крутился тут, вытираясь с одной стороны о старого израильтянина в атласовом жупане, с другой – о протестанского пастора в чёрном облегающем сюртуке. Литовский татарин, прибывший специально из-под Трока, по-братски приветствовал другого ксендза, а крестьянин из-под Ловича жевал табак, который ему гостеприимно давал какой-то галисийский граф. Это был настоящий Ноев ковчег, в котором находилось по паре каждого создания; ковчег, из которого после потопа крови, может, когда-нибудь выйдет новый польский мир, а наше прошлое останется почётным допотопным мемориалом...

Ни этот энтузиазм, немного слишком вызывающий и кричащий, когда после конституции 3 мая Малаховский и Потоцкий шестиоконными каретами, с гайдуками и ливреей, ехали записываться в книги варшавского мещанства, ни братские обещания 31 года не сравнятся никогда значением и авторитетом со скромным, тихим фактом 63 года. За исключением нескольких минут более громкого запала, всё тут отбывалось в тишине и тайне, которые были порукой искренности. Не могло ничего делаться на показ, потому что ничего не показывалось.

² Имеется ввиду роман Ю. Крашевского «Дитя Старого Города» (1963 г.)

Одной, может, из наибольших жертв, на какие способен человек, были неустанные самопожертвования самолюбию: старшие шли под приказы молодёжи, заслуженные люди в народе с покорностью уступали перед незнакомцами, которые их превосходили запалом.

Не для того, что является нашим, но для святой правды во стократ следует признать, что никогда истории не представили подобной картины. Собираясь нарисовать хоть частицу её, мы чувствуем весьма сильно, как то, что нам кажется бессильным и недостаточным, может нашим внукам (ежели жить будут наши внуки) показаться преувеличенной апологией.

Найдутся даже сверх того люди, которые когда-нибудь, позже, обрисуют тёмные части этой картины, нам она кажется такой ясной и золотистой, пурпурной кровью и синевой надежды окрашенной, как те чудесные изображения, которые вдохновлённая рука благословенного Ангела из Фьезоле рисовала в моменты вдохновения. Как в одних, так в других почти нет теней, те же светлости. С трудом мы могли бы описать ту сцену под сводами старой трапезной, закиданной промышленным железом, где с одной стороны смотрело на собравшихся прошлое этих стен, с другой – настоящее, олицетворённое в рабочих принадлежностях, сцене братского согласия людей, которых единая цель собрала в этом месте. Разные были совещания, но легко остановились на нуждах организации, главные зарисовки которой они приняли. Эти разговоры не входят в рамки нашего романа, мы скажем только, что полковник, который в первый раз осматривал это здание, а давно уже искал какую-нибудь залу, в которой бы мог безопасно муштровать нетерпеливую молодёжь, воспользовался этим вечером и выпросил себе разрешение и ключ от трапезной. Поскольку не было оружия и ждать его не хотел, палки и деревянные ружья временно заменяли винтовки и штыки. Место было уединённое, со всех мер безопасное, никто не мог догадываться о ночных сходках в пустой фабрике. Загреба ушёл вне себя от радости.

* * *

Если бы можно было просмотреть всю борьбу, какую в душе человека ведёт его склонность к плохому с остатками добродетели, а часто какой-то непонятный фатализм, гонящий к злу, который средние века называли дьяволом – эта драма души была бы в действительности горячо занимательней, чем все греческие трагедии.

Нет, наверное, человека, которому бы в жизни не приходили плохие мысли, но это – зёрна, которые рассеивает ветер, лишь плохое дело укоренит сорняк навеки. Как те тернии и чертополохи наших полей, которые, скашиваемые каждый год, с каждой весной возвращаются, так поступки какой-то тайной силой связывают человека со злом... *Кто раз напился – будет пить*, говорит французская поговорка.

Преслер вернулся домой, борясь с собой, то охваченный искушением воспользоваться этим открытием, то чувствуя к нему отвращение, то откладывая на потом и т. п. Он чувствовал, что этот решительный шаг может его либо высоко поднять, либо ему дорого стоить; игра была небезопасная и крупная.

Минутами ему было немного жаль этого честного полковника, который ему доверял и, несмотря на воспоминания, достаточно невыгодные, не совсем его осуждал, о других речь шла гораздо меньше.

Этим вечером против своего обыкновения, он вернулся трезвым, что сильно удивило жену, и, взяв ключ, пошёл к себе наверх. Его слышали долго ходящего, тяжело вздыхающего, а около полуночи спустился к Кахне, требуя, чтобы принесла ему водки. Горничная, которая никогда подобных посольств без ведения пани не предпринимала, пошла спросить её разрешение.

Отсюда возникла натуральная бурная сцена, супружеская склока, взаимные угрозы и пререкания, и поручик, хлопнувши дверь, сам пошёл в шинку. Жена ему только объявила, что по возвращению его в дом не пустит...

– Возьми тебя дьявол с твоим домом, – крикнул взбешённый поручик, и потащился к пани Шимоновой на Беднарскую.

Здесь ещё светила одна маленькая лампочка, несколько каких-то людей общалось в другой комнате, а в первой с удивлением он застал, якобы дремлющего знакомого коллегу, некоего Мушинца, который, все положения и ремёсла в жизни испробовав, наконец обосновался аж в полиции. Мушинец, щуплый малый с одним глазом, потому что другой где-то в дороге жизни потерял, больше видел одним, чем многие люди двумя. Был это чертёнок – не человек, на вид тщедушный, а стойкий, как железо. Он на самом деле имел тот же изъян, что Преслер, так как был зависимым пьяницей, но он владел зависимостью, не зависимость им. Временами по четыре недели водки в рот не брал, никакого алкоголя не пробовал, потом вдруг закрывался на несколько дней, пил даже до болезни, и выходил бледный, уставший – но уже трезвый. Мушинец был самым опасным из шпионов, потому что имел чрезвычайно много ловкости, ему не нужно было всего слышать, много догадывался, а с каждым человеком его языком умел говорить. Бывалый старик, он не терпел поручика, поручик его тоже не переносил, но оба делали вид сердечных приятелей. Преслер нахмурился, увидев противника на своём месте, поздоровался с ним, однако, достаточно вежливо и *primo imp etu*³ пошёл выпить водки, чувствуя себя каким-то ослабевшим.

– А ты, сударь, не пьёшь? – спросил он Мушинца.

– Я не пью, теперь такое время, – ответил он, – что в водку вдоваться нельзя, она сладкая, но bestия предательская.

– Маленькая рюмка, – сказал Преслер, – охлаждает и подкрепляет.

– Подкрепляйся и охлаждайся, я сегодня не пью.

Поручику как-то грустно было соло со своей зависимостью выступать.

– Эх! – изрёк он. – Для компании!

– Видишь, сердце, – воскликнул Мушинец, – я как пью, то уже не рюмком, а бутылкой.

– Тогда мы будем пить бутылкой.

– Видишь, я как начну бутылку, то дотяну до полдюжины, а как полдюжину выпью, начинаю полгарковку⁴ и потом из меня труп.

– Что болтать, – молвил Преслер, – это заблуждение; мы дадим себе слово чести, что сверх бутылки ни капли.

– Что с того, когда я такой человек, – отпарировал Мушинец, – что если я себе самое милое слово дал, то ему тотчас изменю, а как пью, то меня ни одна людская сила не останавливает...

– Ну, тогда так, – прибавил Преслер, – под контролем, по одной рюмке...

– Мне кажется, мой дорогой, что оба на это прозвище заслужим, лишь бы только приложились к стакану...

После долгих любезностей Мушинец, однако же, согласился на рюмку патриотичной контушофки. Они были одни, а оттого, что род этого напитка раскрывает уста, насначалось с жалоб на несчастную долю, на полицейских. Преслер не колебался назвать это *собачьим хлебом*.

– Что это, мой дорогой, собачий хлеб, собаки лучше едят! Человек между людьми ходит, как паршивый, каждый его обходит, жена, если её в строгости не держать, глаза заплаёт, дети стыдятся, ад на земле, но с другой стороны, когда ничего не умеешь и ничего

³ Первым порывом (лат.)

⁴ Старопольская мера объёма.

честного делать не хочется, приходится жить и тем отравленным питанием. Ты скажи мне, на что бы я или на что бы ты пригадился? Мы оба даже свиней пасти не умеем...

Преслер бормотал, но пил, Мушинец, усмехнувшись, сказал ему тихо:

– Выпадет мне удача, ежели то, что думаю, получится, возьму толстый грош и уберусь к дьяволу куда-нибудь за границу, потому что меня это ремесло доело. Там буду себе либо отдыхать, либо по-дилетантски только иногда чем-нибудь более важным заниматься...

– Вы уже что-то высмотрели? – спросил Преслер.

– Несколько дней я тихо слежу, – шепнул второй, – крупные рыбы тут собираются в одном месте на стороне, так что их всех в одну сеть поймать будет можно.

Что-то кольнуло Преслера: не были ли, часом, это те же самые, на которых охотился он.

– А где это? Где? – спросил он.

– Думаешь, что я так глуп и дам тебе жареного голубка в рот? Достаточно тебе знать, что они себе выбрали фабрику, которая скрывается во мраке, пустое здание, тёмное, нужен был случай, чтобы я их там настиг...

С этих слов легко догадался Преслер, что оба на одно напали. Замолчал, допили контушковку, мало что говоря друг другу, и разошлись каждый в свою сторону.

Ночь была весенняя, ясная, воздух мягкий, торжественная тишина, сказал бы, что своим плащём покрывала счастье, обнимала спящих благими снами, но в этой зловещей тишине, в этом временном перемирии, душа чувствовала приготовление к великой борьбе. Ни русские, стоящие на страже этого искусственного мира, ни поляки не имели уверенности в завтрашнем дне. Всё знаменовало кровавую борьбу, страшную бурю, которой этот вынужденный мир был приготовлением. Преслер, не имея возможности или не желая вернуться домой, потащился улицей глубоко задумчивый, борясь с самим собой, немедленно ли воспользоваться своим открытием, или ждать ещё, чтобы ему это разъяснилось. Приходили к нему угрызения совести, сомнения, отвращения, страхи, но скоро после них наступало какое-то чувство тревоги, ревности, желание опередить Мушинца и отобрать у него добычу. В натурах звероподобных мы часто встречаем на месте других причин для действия такую страстную зависть, которая толкает на захват раньше другого того, о чём иначе, может, не подумал бы. Преслер особенно чувствовал себя страдающим тем, что Мушинец мог его опередить. Он долго колебался, боролся с собой из страха, чтобы сын не узнал, но в итоге сатанинское искушение победило. Он прошлялся почти всю ночь по пустынным улицам над Вислой; уже рассветало, когда, разгорячённый, он решил поспешить с доносом, чтобы, откладывая его, не смягчиться.

– Юлек не может знать, не узнает; что Мушинец собирается схватить у меня из-под носа, я предпочитаю взять, а потом бывайте здоровы!...

Эта мысль так застряла в его голове, что он тотчас решил пойти в это секретное бюро на Долгой улице и там ждать пана начальника, чтобы с ним о цене крови, о плате преступления условиться. Ему казалось, неопытному ещё в делах большего значения (потому что до этих пор был использован только в малых), что сможет поторговаться о том несчастном товаре, который приносил.

Достучавшись в бюро, он нашёл там только заспанного сторожа и пьяного клерка над остатком водки, принесённой из шинки; бутылка стояла беззащитная и Преслер вычерпнул из неё немного силы для ожидания. Пан начальник, который любил вечерние застолья, долго после них привык спать. Таким образом, не дождался его Преслер даже до девяти и часть утра проспал на скамье в канцелярии. Когда он пробудился, клерк с распухшими глазами осматривал бутылку, считаясь с совестью, мог ли так много из неё выпить. Уже для избежания чувствительных вопросов с его стороны, уже от нетерпения, прибывший немедленно доложил к начальнику. Он попал в наихудшую минуту. Человек, пробудившийся от сна после вчерашнего приёма, чем он был более весёлым и обильным, тем его более черным

искупает настроением. Пан начальник с руками в карманах, кислый, как бы уксуса напился, ходил по комнате большими шагами, зевал и был приготовлен к беспощадному лаю на подчинённых.

Едва Преслер показался в дверях, он насел на него сверху:

– Хорошо, что я тоже тебя вижу! Что вы делаете? За что деньги берёте? В городе заговоры и бунты, правительство ни о чём не знает, на вас полагается, а вы задаром хлеб едите! Что это? Что это? Что вы себе думаете? Вы, пожалуй, в сговоре с этой чернью!

Когда пан советник немного отдышался, Преслер прошептал, что пришёл с рапортом.

– Наверное, снова какая-нибудь глупость, фунта клоков не стоит, – сказал презрительно начальник.

– Извините, пан начальник, – ответил Преслер, – но это крупное дело и я жду, что пан будет соответствующе великодушен меня обеспечить вознаграждением.

На эти слова, которые были, как бы вступлением к торгу, советник вспылал таким гневом, так начал угрожать и пыхтеть, что Преслер на самом деле испугался. Прижатый, тотчас пропел он всё, а по мере того как говорил, пан советник, значительно умиротворившись, смягчился, растрогался и остановил Преслера, желая сразу посоветоваться над средствами использования полученных новостей.

О той большой ожидаемой награде речи не было. В этом разделе тёмных и запутанных дел всегда высший берёт плату, отделяваясь от второстепенных обещаниями. Пан начальник сам надеялся на денежную премию, может, на крест, может, на более высокую должность, а Преслера мог отлично сбыть какими-нибудь двумя сотнями злотых, из которых ещё половина оставалась в его кармане.

Экс-поручик имел только то утешение, что у Мушинцы вырвал ожидаемую удачу. Целый день утекал в тайных приготовлениях к вечерней осаде указанной фабрики и захвату всех, которые бы в ней находились. У Преслера и начальника была надежда поймать там главарей заговора.

Между тем готовилось, что-то совсем другое. Полковник в этот день собирался собрать молодёжь и урегулировать науку работы оружием, к которой она рвалась. Он хотел сначала использовать Преслера за инструктора, но не был ещё в нём уверен и даже не мог найти. Другой старый солдат пошёл на его место. Когда прилично смеркалось, часть той молодёжи, которая выглядела такой нетерпеливой в день начала тайной муштры, начала медленно сходиться к фабрике, в которой их уже ожидал полковник. Дверки постоянно открывались, но за ними и за стеной расставленные стражи и полиция тайно ждали уже только, когда соберутся все, дабы захватить их вместе.

Молодые люди спешно сходились, а полковник, поглядывая на те красиво сияющие запалом лица, улыбался и в то же время плакал от радости. Обнимал и целовал каждого, знакомился с ними и, словно скоро хотел отвести их на бой, учил, как нужно было вести себя в присутствии неприятеля.

Картина, какую представляла эта слабо освещённая зала, в которой седой уже вояка разгорячённую эту молодёжь, то сдерживал, то распалял воспоминаниями прошлого, была велика своей простотой и тем спокойствием среди опасности, которое составляло характер всех действий нашей эпохи. Каждый из них знал, чему подвергался этой ночью сходки, в которой палки взаправду заменяли оружие, но в цели и мысли которой ошибаться было невозможно.

Смех и шутки сопровождали эту импровизированную муштру, шумную, весёлую, оживлённую. Вместо карабинов по форме их и подобию понаделанное из дерева оружие служило большей части, тогда как остальные имели только простые палки, а один старый солдат, который их учил, ржавый карабин, извлечённый, видно, из долгого хранения. В миг, когда выстроенные в два ряда ребята маршировали, как бы уже шли на московские шеренги,

какой-то стук послышался у двери, привыкшее ухо старого солдата узнало звон оружия, ударяющегося о плитку коридора. Со всех лиц пропало выражение радости и изобразилась ужасная неуверенность.

Один из молодёжи побежал за машины к тёмному окну и увидел среди достаточно светлой ночи всё здание окружённое правительством солдат. На его крик все разбежались по зале, ища способ прорваться или укрыться, один полковник остался на своём месте как вкопанный, испуганный, изумлённый, почувствовав, что был никак ответственным за гибель этой молодёжи. Он искал в голове способ спасения, но уже начали стучать в дверь и выбивать её прикладами. Сознательный, ибо привыкший к опасности, полковник сделал знак солдату, к которому присоединилось несколько смелых, чтобы забаррикадировал двери, стоящие близко машины послужили для этого материалом. Притащили пару мельниц и соломорезок, подпирая ими ломающиеся уже двери.

После первой минуты ужаса наступили советы и размышления, как можно ещё спастись. Зала имела с обеих сторон окна достаточно высокие, но ими вскоре так же русские могли проникнуть внутрь; под одними были видны передвигающиеся штыки. Полковник, изучая позицию, взобрался с другой стороны на низкую стену, дабы увидеть, нельзя ли будет выбраться таким образом. К несчастью, и тут стояло войско и полиция. На двери напирали всё сильнее и каждую минуту из окон можно было ожидать этих гостей. Пока, однако, надумали как захватить залу, с той стороны кто-то из молодёжи заметил в глубине трапезной замурованные в один кирпич дверочки, но никто не мог сказать, куда они выходили. Очень могло быть, что и за ними стояли солдаты, но равно также приходилось ждать, что с той стороны мог быть неосаждённый проход.

Когда русские штурмуют двери, полковник скомандовал, чтобы железным колом, который нашёлся под рукой, пробовать пробить отверстие в двери. На эту последнюю надежду спасения сосредоточились силы всех; начали бить, пара кирпичей выпала и с поля повеял холодный ветер. В отверстие не видно было московских солдат. Эти двери в давние времена вели в коридоры, позже заваленные; русские, видя голую стену без дверей и окон, не видели необходимости обеспечить её стражей. В сердца всех вступила надежда. Кирпичи сыпались с обеих сторон отверстия, которое всё больше увеличивалось, но тут же и солдаты, не в состоянии выломать двери, начали трясти окна. Кому-то пришлось на ум погасить свет и всеми силами стараться расширить отверстие в стене. С трудом можно уже было в него протиснуться. Но в минуту, когда узнали возможность побега, все остановились, желая сначала спасти полковника.

Скрытый в темноте, он не хотел о том слышать и только громко крикнул:

– На сто тысяч фур батальонов чертей! Плаксы этакие, пользуйтесь же Божьей милостью, слово солдата, что иначе не выйду, как последним. Вы молодые, ещё более потребны родине, чем старый трутень, вроде меня, я вас сюда привёл и, как капитан с тонущего корабля, выйду последним либо погибну...

Один или два с великим трудом протолкнулись через отверстие, когда русские ворвались в залу и вместе с ними полицейские с фонарями; заметив это отверстие, они сразу овладели им, как дверями и окнами.

Не было там ни жалоб, ни стонов, ни унижительных просьб, которые этих палачей смягчить бы не могли. Только глухое молчание, прерываемое их шутками, проклятиями и глухими ударами. Иногда вырывался крик из груди, как бы вырванный проникающей силой боли, но тут же замолкал, укрощённый мужской выдержкой.

Русские, колотя и издеваясь, извлекали молодёжь из всех закутков залы. Полковник стоял, взятый между четырьмя штыками, с опущенной головой и, словно безразличный. Трудно описать радость мучителей, когда они увидели столько жертв в своих руках, но руководящий этой экспедицией офицер полиции, который ожидал иного улова, ругался по-

московски, видя, что это не были вовсе начальники заговора, но молодые парни, которых полиция имела тысячи способов взять их в свои когти. Полковника отделили как наиболее важного из заключённых, отвели в дроги и повезли вперёд, когда остальных боковыми улочками отвели в цитадель.

* * *

Жена Преслера была одной из тех несчастливых женщин, которых только материнская любовь держит ещё при жизни; некогда очень красивая, следы чего ещё оставались на её лице, некогда счастливейшая, медленно дошла до той степени недоли, в которой человек наполовину цепенеет, пробуждалась из того сна только, чтобы страдать будущим сына, судьбой дочери, страхом от этого мужа, к которому имела только презрение и отвращение. Целые дни проводила она при работе задумчивая, крутя этот клубок серых мыслей, который прядёт несчастье; её руки машинально занимались работой, а в голове грезилась постоянно, постоянно одни картины будущих несчастий, которые ей казались неизбежными. Она видела мужа то с петлёй на шее, то с пробитой грудью, свою дочку, подметающую уличную грязь, сына с окровавленной головой, где-то на бездорожье присыпанного жёлтым песком. Не умела она молиться, но когда боль очень сжимала её сердце, плакала. Это был тихий плач, почти спокойный, спадающий большими каплями, после которого было легче на сердце, и снова возвращалось это оцепенение, которое было её обычным состоянием. В нём выполняла она машинально все повседневные обязанности жизни, будучи мыслью в другом месте, похожая на ходящую статую без речи и чувства. Только шаги возвращающегося домой Юлиана и его свежий весёлый голос встряхивали её и будили – на уста возвращалось слово, иногда даже улыбка. На время становилась она для него чувствительным и мягким существом, так как вид мужа пробуждал в ней почти бешенство и ярость. Немного более равнодушной она была для дочери, хотя её также любила, но в душе считала этого ребёнка потерянным, когда Юлиана надеялась сохранить и поэтому привязывалась к нему сильнее. Была эта одна из тех необъяснимых причуд сердца, которые часто встречаются на свете; иногда к более слабому, иногда к более сильному существу мы чувствуем влечение, не умея объяснить, что нас с ним таинственно связывает. Этим вечером, как всегда, Преслерова сидела при свече за работой, а Розия рядом с ней, также с иглой в руке, когда вбежал Юлиан, относя ключ от своей комнаты и вошёл в квартиру попрощаться с матерью.

– Почему ключ относишь? – спросила она его. – Или не думаешь сегодня вернуться?

– Очень может быть, – ответил он, улыбаясь, – что если задержусь, то у кого-нибудь из друзей переночую.

– Я бы предпочла, чтобы ты вернулся домой, – отозвалась мать. – Сейчас такое неспокойное время, можешь где в подозрительном месте ночевать, заберут тебя с другими...

– Мапочка, – сказал молодой человек тихо, – когда другие терпят, лучше ли я их, чтобы так себя уважал и укрывал... Что тем – то и мне...

– О! Не говори же мне этого.

Парень замолк, опустил голову, поцеловал матери руку, сестре – лоб и пошёл с весёлой песенкой. Его было долго слышно на лестнице, напевающего мелодию: «*Боже что-то Польшу...*», песня, которую в это время все неустанно повторяли, поневоле приходящую на уста каждому.

За ним потихоньку начала петь её Розия, а мать, слушая, через минуту залилась обильными слезами. Дочка, заметив их, замолчала.

В этом молчании, прерываемом невыносимо долгими вздохами, протекал вечер, наконец Розия мать велела ложиться, а сама спать не могла и, не желая терять времени, села за другую работу, поджидая мужа. Сама мысль его возвращения и образ этого человека, кото-

рый всегда притаскивался пьяным, чтобы своим дыханием отравлять воздух этого тихого угла, наполняя её страхом, отвращением и дрожью.

Городские часы уже пробили полночь, когда медлительная, тяжёлая походка послышалась на лестнице. Преслерова, которая столько раз, бодрствуя, ожидала мужа и сына и умела распознавать их шаги, знала, что это был не Юлиан, который обычно бежал живо, тихо, с той молодёжной грациозностью, которая, кажется, не касаясь земли, была скорее полётом, нежели бегом. Старый Преслер спяну ударился на этой тёмной лестнице, хорошо ему знакомой, рассыпая проклятия по дороге. В этот раз эта походка была вялая, вольная, тяжёлая, сознательного человека, который, идя неохотно, словно боялся дойти до цели.

Удивилась женщина, когда эти шаги, такие непохожие на обычную походку её мужа, приблизились к двери, и вошёл медленно Преслер, в шапке, надвинутой на глаза, бледный и молчаливый.

Он имел физиономию человека, который с хладнокровием совершил большое преступление и ломался под его тяжестью, деля вид спокойствия. Жена, посмотрев на него, испугалась хуже, чем если бы был пьяным, как обычно, его глаза, уставленные в одну точку, искривлённые уста, странная плаксивая улыбка, которая на них играла, притом глубокие морщинки на челе и конвульсивная дрожь щёк не могли скрыться от глаз бедной Преслеровой. Поручик, сделав несколько шагов, упал на стул, светилась голову и, доставши свиток бумажных денег, дрожащей рукой бросил его на стол, восклицая охрипшим голосом:

– Женщина, возьми это для Юлиана!

Но жена, которая в каждом другом случае с нетерпением схватила бы это желанное пособие, приглядевшись к лицу мужа, не находила мужества к нему прикоснуться. Облик этого человека ясно говорил о совершённом поступке, деньги, заработанные так очевидно, о нём свидетельствовали, что обмануться было невозможно. Несчастная медленно подошла к нему, устала на него свои чёрные заплаканные глаза и тихонько спросила:

– Что же ты сделал?

– Ничего, – ответил Преслер.

– Как это ничего! Весь трясёшься.

– Я голоден, – сказал Преслер с дикой усмешкой. – Дайте мне что-нибудь, дайте мне что-нибудь.

Эти слова, выговоренные глухо, почти с безумием, морозом пробежали по женщине, она бросилась на деньги, чтобы из их суммы сдаться какой-то вывод о случившемся. Было там несчастных двести злотых в пошарпанных бумажках, сумма достаточно значительная для Преслера, всё же не объявившая о никаком необычайном преступлении.

Преслер, который минутой ранее просил, чтобы ему что-то дали выпить, уже было о том забыл. Он сидел с глазами, уставленными в пол, а на губах его играла зловещая усмешка, предшествующая обычно безумию. Был он такой непохожий на себя, такой удручённый, что над ним даже жена сжалась.

– Ну, что же с тобой? Что с тобой такое, или же болен?

– Но ничего! Ничего! Ничего! – крикнул Преслер резко, стуча кулаком по столу. – Когда говорю, что ничего, значит, ничего!

Потом встал и, бормоча, начал прохаживаться. Женщина испуганно отошла, села на своё место и, погружённая в молчание, принялась за дальнейшую работу. Преслер ходил и ходил, тёр рукой лоб, дёргал на себе одежду, а иногда с принуждением будто что-то напевать пробовал. Время ко сну давно миновало, но ни Преслерова, ни он не думали об отдыхе; она ещё немного поджидала сына, он сам не ведал, что с ним произошло, но заснуть бы не мог.

Около часа кто-то начал стучать в ворота. Каменица содержала в себе много жильцов; часто выпадало, что кто-то из них поздно возвращался, шум у ворот не имел в себе ничего необычного, всё же, услыша его, вострепнулись каким-то предчувствием оба. Через минуту

послышались осторожные и несмелые шаги на лестнице, а когда приблизились к двери, Преслера, торопясь, выбежала навстречу. Почти в то же время дверь медленно отворилась и на пороге показался молодой человек, которого мать часто видела с Юлианом, бледный, в немного порванной одежде, уставший. При виде матери он смутился ещё больше и начал будто спрашивать о Юлиане, но взором искал вдалека прохаживающегося отца. По его испуганному лицу можно было узнать, что он пришёл не напрасно. Узнав, однако, от матери, что Юлиана не было, хотел повернуть назад, когда поручик машинально подошёл к нему. Ловя мгновение, когда мать, казалось, отошла в другое место, молодой человек дал знак Преслеру, что хотел бы ему что-то поведать лично. Но в минуту, когда он сделал это движение, глаза женщины поймали его, её сердце вздрогнуло, она уже догадалась о каком-то несчастье, которое от неё хотели скрыть, и схватила молодого человека за руку, таща его за собой на середину комнаты.

– Ради Бога! Человече, – крикнула она, – говори, заклинаю тебя, ты что-то знаешь! Ты что-то хочешь о Юлиане от меня утаить, ты делал ему знаки! Я – мать, я первая обо всём должна знать, я тебя не отпущу пока мне не расскажешь.

Молодой человек колебался при виде той боли, из его глаз потекли слёзы. Преслер стоял ошеломлённый, только губы и лицо дрожали судорожными движениями.

Это была минута страшного молчания.

– Несчастье! Несчастье! – наконец проговорил молодой человек слабым, дрожащим голосом.

– Что же случилось, что же случилось? Не убит? – крикнула мать.

– Нет. Но схвачен, – ответил прибывший, – вместе с многими другими. Я сам не знаю, каким чудом оттуда спаясь. Мы были собраны в одной фабрике для муштры, было нас там несколько десятков, место казалось надёжное, какой-то подлый *штион* должен был донести. Двое или трое убежали через сделанное отверстие в стене, остальные достались в руки русским... Юлиан с ними...

Он ещё не закончил рассказа, когда Преслер заревел каким-то странным голосом, заметался, потом сорвался, бегал как сумасшедший и, тотчас схватив шляпу, даже не взглянув ни на кого, мигом вылетел из дома.

Несчастной матери больше, чем предчувствие, почти уверенность указала убийцу сына – был им его собственный отец.

* * *

Пан начальник отдыхал на лоне семьи и в парадном турецком халате, с гаванской сигарой во рту пил ароматный чай, которым русский купец, его друг, одарил, когда слуга дал ему знать, что с рассвета какой-то очень незаметный человек вспыхливо просился на аудиенцию.

От того, что это было время, посвящённое удовольствиям семейной жизни, в которое пан советник любил быть свободным и никого обычно не принимал, его сильно возмутила эта смелость какого-то оборванца, и он приказал его вытолкнуть за дверь.

Пан начальник, который на протяжении какого-то времени вдыхал петербургскую грязь, привёз из него все обычаи и пороки московских чиновников. Вечером в гостиной это был очень милый, сладкий и немного сентиментальный человек. Его можно было принять за идиллическое цивилизованное существо, немного эпикурейских привычек, но совсем доброе и не страшное, за сибарита, любящего развлекаться, хорошо поесть, вкусно выпить и старающегося избегать хлопот. Но под той личиной человека слабого, женоподобного и мягкого от себялюбия, скрывался холодно-хищный зверь, которому самые большие подлости и жестокости ничего не стоили. Вся его жизнь рассчитана была на доходы и мате-

риальные выгоды; где нельзя было взять деньги, там ловко выманивался подарок. Этот удобно и изысканно обставленный кабинет, в котором пан начальник изволил отдыхать, весь состоял из даров друзей и клиентов, собранных по причине разных интересов. Мебель, по правде говоря, была куплена, но частично оплачена, и столяр об остальном упоминать не смел; сигара, которую курил, была подарком какого-то контрабандиста, чай, который пил – жертвованием купца, халат – платой за маленькое плутовство, письменный стол – презентом несчастного ремесленника, а мелкие побрякушки, покрывающие его, – сувенирами разных услуг, оказанных якобы бесплатно. Его жена ходила в подаренной салопе и выцыганенной шали. В этом доме чрезвычайно удивлялись, когда какой нахал приходил напомнить о деньгах, всё общество должно было собираться на удобство достойного служащего, который так заботливо следил за его спокойствием.

После выданного приказа изгнания нарушителя, у двери послышался шум, потом какие-то рывки и в выпертых силой двустворчатых дверях показался впереди бледный Преслер, потом слуга, который его немилосердно тянул назад за воротник. Поручик так сильно держался, что, оставив порванный кусок в руках лакея, ворвался в комнату и прямо бросился к ногам начальника, который сильно испугался. Но, узнав Преслера и видя его таким взволнованным, дал знак слуге, чтобы ушёл.

– Трутни этикие! Чего ты ко мне сюда лезешь? Ты знаешь, что наистрожайше запрещено приходить ко мне домой, как ты смеешь здесь показываться. Что тебя сюда, к чёрту, принесло?

Поручик имел совсем безумную мину, трясся, хватал его за ноги, плакал, говорить не мог.

– Помешался негодяй, что ли! – крикнул начальник.

– Сын! Сын! Мой! Пανε, спаси мне сына! Взяли у меня единственного сына, сделайте со мной, что хотите, сошлите меня в Сибирь, в шахты, отсеки мне голову, но сына освободите.

– Что ты плетёшь! Где? Какой сын?

– Сын! сын... вчера... там... там, куда я направил, между теми, кого вчера взяли, мой собственный сын! Он должен быть со мной, вы должны мне его освободить. Пανε! Сдерите с меня шкуру, я достоин ада и самых страшных мук. Я погубил собственного сына!!

Он говорил дрожащим голосом, наболевшим, который сдвинул бы скалу, но пан начальник, видать, был привыкшим к людским стонам. Не раз, может, в цитадели он хладнокровен был к допросам, совершаемым с помощью розг и палок. Стоны отчаяния отбивались об его грудь, не доходя до её глубины. Вечером в гостиной сожалел, когда ему выпадало пёсью лапку придавить, но в отправлении должности ассистировал не раз, когда по сто розг давали слабым старикам или маленьким детям; не делало ему это ни малейшей разницы, ел потом с наслаждением бифштекс у Бегерела и восхищался пением госпожи Риволи в театре. Мы забыли добавить, что он был очень музыкальным, славился за любителя театра, а особенно был увлечён балетом и... балеринами.

На крик отца из отдыхающего мягкого человека он вдруг стал служащим.

– Иди же прочь! – воскликнул он. – Как ты смеешь с таким делом приходить ко мне? Твой сын был между теми бунтовщиками, он виновен и пойдёт с другими в Сибирь.

– Пανε! – крикнул Преслер. – Это не может быть, у меня есть всё же в правительстве заслуги, я для вас скрыл позор, я вам выдам сто за него одного! Выгреблю, из под земли выкопаю, но вы должны мне отдать этого одного!

Преслер ещё раз растянулся у его ног и начал, плача, их обнимать.

– Пανε, – воскликнул он, – и ты имеешь детей, подумай, если бы одного из них схватили?.. У меня только один сын!!

– А чем же он лучше других, которые за то же в Сибирь пойдут? – крикнул начальник. – Одного имел, нужно было тебе его иначе воспитывать, отдать на службу, а не отпускать его бесконтрольно и бросить его в ту молодёжь, заражённую мятежным духом.

– Правда, я виноват, пане! – промолвил, стоя, Преслер. – Да! Я виноват, я – не он, плохим его воспитал, я должен быть наказан. Покарайте меня, вешайте, потому что я и так жить не буду, выдав собственного сына в руки палачей.

– Что это за палачей? – воскликнул возмущённый начальник. – Ты теряешь голову, палачей? Ты правительство называешь *палачами*?

На эти слова Преслер, который вместе с надеждой начал терять терпение, вскочил с пола, встал перед ним грозный и сказал диким голосом:

– Да! Вы палачи, палачи, все, что вам служат, я стал палачом, но отдайте мне сына либо... беда вам! Беда вам!

Говоря это, он поднял вверх кулак, пан начальник побледнел и снова из служащего стал тем мягким вечерним человеком.

– Тихо же, тихо, сердце моё, – сказал, – что же ты так руки выворачиваешь? Ну что ты, опомнись, обуздай себя!

– Отдадите мне сына? – вскричал дрожащим голосом Преслер.

– Но всё может сделаться, только ты свои руки оставь в покое, не кричи, остынь, а уж как-нибудь позже увидим...

Преслер вдруг от гнева снова перешёл к умоляющему виду, начал обнимать его за ноги и целовать.

– Благодетель мой, – сказал он, – жизнь за тебя положу, буду тебе служить, стану твоим рабом, сделаешь со мной, что хочешь, но, ради Бога, освободи мне только сына.

– Уж только тихо, иди, иди, – сказал испуганный начальник, – сделается, что будет возможно, но иди себе... прошу тебя... дорогой!

Но Преслер, как прикованный, отойти не мог, плакал, повторял одни просьбы, и только лишь с большим трудом его можно было отправить за дверь.

Начальник, вспотевший, как бы вышел из ванной, трясаясь от страха, вылетел другими дверями из комнаты и не мог прийти в себя даже после завтрака у Стоцкевича, где должен был выпить больше одной бутылки вина. Заплатил за неё, правда, гражданин прибывший из провинции, с которым недавно он познакомился.

* * *

Выпихнутый от начальника, Преслер блуждал по городу, как сумасшедший, в его голове вились самые дикие мысли, строились самые смелые проекты, будь, что будет, хотя бы жертвой хотел спасти жизнь сына, хотя бы пойти к самому царю, дабы вырвать у него эту жертву. Иногда навевала ему какая-то надежда, что сам начальник спасёт его сына, что его заслуги получат награду, то снова предавался отчаянию, припоминая, что живым от палачей не возвращалась ни одна жертва. Тех, которых однажды выпустили, взяли во второй раз и в третий, ни один из подозреваемых по несколько раз осматривал Сибирь. До молодёжи они особенно были лакомы, никого не прощали. Видели сынов должностных лиц, занимающих высокое положение, закованных в кандалы и гонимых в изгнание. Преслеру приходили на память все случаи, о которых слышал. Блуждая от канцелярии до дома начальника, везде спрашивая о нём напрасно, сам не зная как, дотащился до дома, но тут и минуты выдержать не мог, пустота была ужасная, воспоминания увеличивали горе.

Матери не было дома, Розия сидела у окна с заплаканными глазами, Кахна плакала в другом углу, дверь была открыта, на кухне не было огня, везде грусть, как по умершему, которого только что вынесли на кладбище. Преслер не смел пойти наверх, ибо должен был

проходить возле двери комнатки сына. Тихим голосом он спросил у дочери, где мать, ребёнок ответил ему, что ничего не знает, и поручик с безумным взором, с высохшими губами, пошёл снова в бюро на Долгой улице. В этот день, долгий как век, он потерял ход времени, потерял память, забыл обо всём, помнил только, что был палачём собственного ребёнка. Проходя где-то около часовщика он встретился с часом, в который по обычной привычке начальник должен был быть в бюро. Таким образом, он поспешил, но сразу при дверях застал поставленных полицейских, которые не дали ему вступить на порог, напрасно он просил и настаивал, ему ответили, что, если он отважится шуметь, у них есть приказ отвести его в ратушу. На великие просьбы, после нескольких посольств, в сопровождении двух стражей он, введённый, оказался перед обликом пана начальника.

Был он ужасно грозный, мрачный, сердитый. Поручику приказали говорить с порога, а пан советник для безопасности держался в другом конце залы, поглядывая боязливым глазом на своего подчинённого. Видимо, утрення сцена и тот кулак, который мелькнул так близко от глаз, ещё вспоминались. Преслер, видя все эти приготовления, стоял очень покорным.

– Пана начальник, – сказал он, – вы мне обещали! Смилуйтесь надо мной!!

– Выбей ты это себе из головы, чтобы для твоих красивых глаз, – сказал сурово начальник, – правительство, схваченного с оружием в руках бунтовщика, освободило. Поблагодаришь Господа Бога, если его с другими не повесят, а о прощении не думать.

– Но вы мне обещали! – прервал Преслер.

– Ничего я не обещал тебе, а теперь тебе только то обещать могу, что если ещё раз отважишься прийти ко мне с этим пищанием и занимать время, то прикажу засадить туда, откуда не легко вылезешь...

Эта угроза, видно, подействовала на Преслера, всей его надеждой были собственные усилия, он боялся, чтобы его не арестовали. Начальник, который в те минуты смотрел на него, заметил на бледном лице два ручья слёз, которые тихо текли и по двум глубоким морщинам сходили к стиснутым устам. Если бы он имел немного сердца, был бы тронут видом этого человека; окаменелый эгоист порадовался только тому, что уже второй раз кулак около своего лица не видит.

Преслер искал в своей голове иной помощи, ничего уже не говорил и, когда пан советник ожидал ещё других жалоб и писка, вдруг отвернулся к двери и вышел.

Этот его выход вдруг после резкой утренней сцены казался начальнику подозрительным, он чувствовал, что этот человек так странно быстро успокоиться не мог, его охватила какая-то тревога, он даже подумал, не следовало ли его арестовать, но потом успокоился. В глубине, однако, он было очень беспокойный.

Преслер, минуя косвенные ступени, решил направиться непосредственно к генералу, который в данный момент был во главе комиссии, и от которого полностью зависела судьба его сына.

Я рад бы здесь при той ловкости набросать характеристику панов генералов московских войск, которые такими отличными делами отмечаются в борьбе с возражающей Польшей.

Газеты полны зверств солдат, варварствами пьяной толпы, насилия над слабыми, преступлений, издавна неизвестными ни в одной войне. Жалость сегодня является чувством запрещённым, христианское милосердие – слабостью, достойной наказания. Напрасно бы в этом обвинять глупое солдатство, которое спяну само не знает, что делает, система и её выполнение есть делом старшины, собственно тех генералов, о которых мы вспомнили, ровно храбрых на поле боя, когда речь идёт о добивании раненых и расстреливании безоружных, как отличных в допросах военных судов, в приговорах, и в администрации доверенного им края. Ни турок, ни татарин не мог бы быть более жестоким, никакое так же монгольское племя более глупее, чем они, быть не может. С большим рвением на услуги своего царя

московский генерал готов попрать все божественные права, лишь бы за это мог получить в *благодарность ленту*, а в итоге дарственную на землю. Хотя в поведении генералов мы не видим великой разницы и могло бы казаться, что все отлиты в одной форме, они имеют, однако, различные виды.

Мы не очень вежливы в сравнении, но годится за эти убийства и поджоги хоть словом презрения отплатить.

Российских генералов можно поделить на несколько классов, всё-таки все принадлежат к хищным животным. Хотя одни поверхностно выглядят как мягкие, другие намеренно желают показать себя дико. Вообще особенность, определяющая вид и составляющая характер, — это язык, каким говорят.

Есть генерал, говорящий только по-русски, второй, который знает по-французски, третий, что предпочитает немецкий язык, потому что с этим во рту родился, наконец, генерал, говорящий всеми языками, даже по-польски.

Первый, который обычно дослужился с низкого чина — есть человек простой, ходящий регулярно в церковь, обычно достаточно старый, обожествляет царя, целует руки попам, живёт на пенсию, послушно выполняет все приказы, но чувствует сердце в груди и является понемногу человеком, насколько царь ему им быть позволяет.

Из всех видов этого ещё можно превознести над другими. То полумерцание этой цивилизации без веры, принципов и убеждений ещё на его голову не упало, не отказался он ни от старых суеверий, ни от правил старой жизни; слепое, как все, орудие, он прикажет вырезать в пень⁵, когда указ придёт вырезать, но потихоньку заплачет.

Уже этот второй, который научился французскому, делает вид либерального, который ни во что не верит, и готов родного брата продать за звезду на погонах, есть гораздо хуже первого.

Особеннейшим феноменом жизни этих людей-самоучек, которые приличного образования не проходили, которым тирания служила нянкой — это как раз то, что из просвещения и цивилизации вместо того чтобы брать мёд, берут грязь. Цивилизованный русский не научится ничему здоровому, ничему, что сильным и мощным делает человека, слизывает только гниль цивилизации, берёт из неё тщеславие, напыщенность, стремление к роскоши, разврату, всё, что представляет порок, а не то, что даёт силу. Не является это виной цивилизации, что из неё яд вытянуть можно; из одних материалов пчёлы вырабатывают мёд, а змеи — яды.

Генерал, который знает французский, часто бывает либеральным на словах, но спроси его слуг, как он с ними обходится, жену — как с нею живёт, и подчинённых — как их обкрадывает! В салоне, которого язык и незначительные фразы легко схватывают, это люди приличные, некоторые из них даже много читали, но образование ничуть на жизнь не повлияло. Этот вид дал бы себя разделить на много подвидов, мы должны это великое разнообразие оставить будущему монографу этой дикой сущности, мы добавим только, что, как московский служащий в салоне и в кабинете — это существо полностью разное, так генерал тот на родине и за границей совсем на себя непохож. Особенностью этих служебных существ есть то, что везде с собой носят своё рабство, перед царём они слуги, а часто сводники, у вод где-то в Ницце либо в Лондоне прикидываются людьми. Их нужно видеть, когда возвращаются из той рекреации *ad limina Carorum*, когда меняют круглую шляпу либо жокейскую шапочку, на последний станции надевая фуражку со звездой и николаевское пальто. Кто их встречал на улицах Парижа и видел потом в Вежболове либо Сосновцах, может их смело не узнать. Из благ цивилизации привозят домой чаще всего щётку для ногтей, немного помады, а иногда вставные зубы и окрашенные волосы.

⁵ Поголовно

Генерал, который знает немецкий – естественно, немец, а то, что половина, если не больше, России – немецкая, он здесь себе, как дома. Кажется, что наши германские соседи, делая у себя порядок, старательные хозяева, вымели весь мусор за московскую границу.

Есть много дворянского и достойного в этих немцах, которых не любим, но прошу показать мне одного *человека* немца на российской службе? Издавна признанные учителями Москвы, немцы считаются здесь существами благороднейшего рода и превосходят везде русских. Было мгновение, когда ненависть к ним местных жителей доходила уже почти до отчаяния, но в теперешней борьбе с нами немцы не уступили русским и заработали себе снова на право гражданства. Генерал немецко-русский не такой показной, не такой фанфарон, как предыдущие; работает, берёт деньги осторожно, старается о какой-то специальности, от своей национальности легко отрекается, вытесняет веру, с охотой женится на богатой москвичке, детей даёт в добычу православию и, верно служа царю, добывается высоких позиций, большого влияния и значительной собственности. С немецкой систематичностью, хладнокровием готов резать, убивать и жечь, поддерживая себя по необходимости философией истории, историей философии, политической экономикой, Маккиавелли, Гансом, Гегелем и, в конце концов, кем хотите, – это муж учёный и опытный, чрезвычайно опытный. Большой поклонник силы, немецкий генерал склоняет перед ней голову, служит ей, а в случае, когда бы ему нужно изменить мундир или мнению, готов на всё.

Имеет, однако, слабость, хоть якобы отрицал свою национальность, помогает потихоньку всему, что немчизну может распространить в России. На самом деле он убеждён, что Российская империя только ошибочно относит себя к славянским государствам, а в действительности это немцами завоёванная Монголия. Может, он и прав.

Последний вид генерала, воспитанного так счастливо, что знает по-английски и по-итальянски, может, из всех является самым наиопаснейшим. Человек этот, который много и поверхностно учился, наиболее также набрался высокомерия, верит только в себя, царя уже не считает божеством, но инструментом, который ловко умеет использовать; серьёзный, замкнутый, сильно уважающий себя, он знает, что из подобных ему делается в Москве всё, начиная от куратора университета, министра просвещения, даже до начальника военных предприятий, хозяина казначейской сословий, директора банка либо руководителя всеми императорскими театрами. Он знает, что может поехать в Китай послом, в Париж за красивой актрисой либо в Сибирь управляющим доходами с городов. Помнящий о великих своих предназначениях, он уважает в себе то древо, из которого может выстругать какую-либо маленькую державу или какую-нибудь большую виселицу.

Генералы этого вида с равной лёгкостью сменяют военную одежду на гражданскую, как фрак на мундиры. Это люди, из которых в России делается всё, а то, что военное дело является основой всего, те, что хотят высоко дойти, должны служить в армии, ибо те, которые только были в гражданской службе, всегда как-то похрамывая идут в гору.

Мы вовсе не исчерпали этого предмета и всё же заманчивое его разнообразие, может, слишком далеко нас унесло. Много ещё можно было бы рассказать (что где-нибудь ещё поведать можно), между тем вернёмся к роману.

Генерал, к которому решил пойти Преслер, относился к второму типу, знал он французский, но, научившись поздно от какого-то француза родом из Псковской губернии, про-износил: «*Fiermie la port*» и т. п. Был это один из тех заказных убийц, которых правительство обычно использовало для кровавых услуг, убеждённый, что как только самый большой ужас предписан властью, уже тем самым становится справедливым, бил, рубил, морил голодом, запугивал, резал бы и жёг, лишь бы на это имел указ с императорской печатью.

Веря, что всякая власть исходит от Бога, служил власти, как Господу Богу, продал ей свой рассудок, которого имел не много, и совесть, с которой никогда не считался. Привычка к суровости создала в нём такое равнодушие, какое редко встречается в людях, приобре-

тают его иногда на физические страдания, хирурги привыкли ежедневно руки и ноги пилить и московские генералы в этих тайных цитаделях, которых плащ мученичества покрывает ужас. Был это человек лет под пятьдесят, с глупым лицом, бледный, раздутый, привыкший к распространению страха и своей всесильности, не большого ума, не слишком даже ловкий, но идеал непонимающего служаки.

Весь его день проходил на наблюдениях в цитадели, который, когда обвиняемый был сильней подозреваем, а правительству срочно было дознаться правды, кончался обычно розгами и пытками.

Генерал бывал к этим экзекуциям хладнокровен, а крики несчастных вовсе уже не производили на него впечатления. Когда, после дня, так честно проведенного, он возвращался в лоно семьи на вечерний чай, никогда не приходила ему мысль сетовать на варварское правительство, но проклянал этих негодных поляков, что в благах московского правительства разобраться не умеют. Нелегко было дотянуться до такого матадора (без каламбура), но у Преслера были различные связи и, выходя из дома, как бы предчувствуя, забрал со стола деньги, о которых забыла жена. Он хорошо знал, что во всех московских больших и меньших юрисдикциях, начиная от сторожа даже до генерала, всем, наибеднейший должен оплатить. Исполняя отвратительные обязанности мучителей людей, которых им пожертвовали, вытягивают выгоды и из еды заключённого, и из неудобств его, и из последней рубашки, и из всех, что хотят к нему подойти. Где-нибудь на свете найдётся искорка заплутавшего милосердия, здесь милосердие нужно купить за готовые деньги. Продажность равняется варварству.

Под вечер того дня, когда генерал, говоря их языком, *oddychal*, что значит отдыхал, подкупленный слуга впустил к нему Преслера. Кабинет этого пана жизни и смерти стольких людей вовсе не был похож на изысканный будуар начальника. Не видно тут было самого наименьшего старания о каком-нибудь удобстве, гадкий старый диван с высиженной кожаной подушкой служил за трон пану генералу, простой стол, заваленный бумагами, стоял перед ним, один более удобный стульчик, полированный шкаф, обычные часы – вот и всё. Только дверь отделяла эту комнату от занимаемых генералом с семьёй.

Николай Сергеевич в мундирном сюртуке без погон курил сигару и читал *Инвалида*. Когда Преслер вошёл, он долго на него смотрел. Привычка наблюдения не оставляла его и теперь, он хотел разгадать человека, прежде чем с ним говорить. Но физиономия поручика ничему его научить не могла.

– Ну, чего ты там хочешь? – спросил он наконец.

Прежде чем начал говорить, Преслер пришёл покорно, а, скорее, приполз прямо к его коленям и целовал их, плача.

– Ну, рассказывай!

– Пане генерал, я – полицейский агент, я верно служил правительству более десятка лет, могу поведать, что я и много за это снёс и не раз достаточно хорошего сделал, но меня вчера коснулось сильное несчастье. Я сам донёс, что там, на одной фабрике, молодёжь собиралась на муштру, между той молодёжью схватили моего собственного сына, единственного сына. Пане генерал, возьмите мою жизнь, но простите этому ребёнку!

Когда Преслер это говорил, генерал постоянно на него смотрел, жуя сигару. Хотя несколько лет имел дело с польскими узниками, хорошо польскому языку не научился; с трудом понимал язык, а ещё хуже им говорил.

– А! – сказал он. – Это, это из той шайки мятежников, которых вчера сюда с тем старым пригнали. Все пойдут в Сибирь, без исключения!!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.